

Николай Семенович Лесков

Заметки неизвестного

Содержание

| | |
|---|------|
| #1 | 0005 |
| ИЗЛИШНЯЯ МАТЕРИНСКАЯ НЕЖНОСТЬ | 0006 |
| ИСКУСНЫЙ ОТВЕТЧИК | 0021 |
| КАК НЕХОРОШО ОСУЖДАТЬ СЛАБОСТИ | 0024 |
| НАДЛЕЖИТ НЕ ОСУЖДАТЬ ПРОСТУПКОВ, НЕ ЗНАЯ РУКОВОДИВШИХ ИМ СООБРАЖЕНИЙ | 0029 |
| О БЕЗУМИИ ОДНОГО КНЯЗЯ | 0036 |
| О ВРЕДЕ ОТ ЧТЕНИЯ СВЕТСКИХ КНИГ, БЫВАЕМОМ ДЛЯ МНОГИХ | 0043 |
| О НОВОМ ЗОЛОТЕ | 0058 |
| О ПЕТУХЕ И О ЕГО ДЕТЯХ Геральдический казус | 0062 |
| О СЛАБОСТИ ЧУВСТВ И О НАПРЯЖЕННОСТИ ОНЫХ (Двоякий приклад от познаний и наблюдения) | 0092 |
| ОБ ИНОСТРАННОМ ПРЕДИКАНТЕ | 0097 |
| ОСОБЫ ДУХОВНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И В СВЕТСКОМ БЫТУ ИНАЧЕ УВАЖАЮТСЯ | 0105 |
| ЖЕНСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИНЯЕТ НАПРАСНЫЕ БЕСПОКОЙСТВА | 0111 |
| ОСТАНОВЛЕНИЕ РАСТУЩЕГО ЯЗЫКА | 0115 |
| ОСТРЫХ ВЕЩЕЙ В ДАР ПРЕДЛАГАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ | 0123 |
| ПРЕУСИЛЕННОЕ СТЕСНЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ ПРОТИВНОЕ ПРОИЗВОДИТ | 0127 |

| | |
|---|------|
| ПРОСТОЕ СРЕДСТВО | 0136 |
| СКОРОСТЬ ПОТРЕБНА БЛОХ ЛОВИТЬ, А В ДЕЛАХ НУЖНО ОСМОТРЕНИЕ | 0142 |
| СТЕСНЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ АГЛИЦКОГО ИСКУССТВА | 0145 |
| СТОЙКОСТЬ, ДО КОНЦА ВЫДЕРЖАННАЯ, ОБЕЗОРУЖИВАЕТ И СПАСАЕТ | 0148 |
| СЧАСТЛИВОМУ ОСТРОУМИЮ И НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ ВОЛЬНОСТЬ ПРОЩАЕТСЯ | 0151 |
| УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ВСЕОБЩЕГО НЕДОУМЕНИЯ | 0156 |
| ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ОБЫЧАИ ТОЛЬКО С РАЗУМЕНИЕМ ПРИМЕНЯТЬ МОЖНО | 0164 |

Николай Семенович Лесков

ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма distinguished, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

ИЗЛИШНЯЯ МАТЕРИНСКАЯ НЕЖНОСТЬ

Ассессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлеваются и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовников ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость ассессорши постоянно похвалил, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти, при себе и одних домашних прислужницах, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, —

ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Ассессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с ассессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание ассессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он

хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая ассессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У ассессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре ассессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого ассессорше не раз намекал отец Павел, был насто-

роже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности — часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и дареные ему за его храбрость из Кабинета. И ассессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они, в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою

капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею собираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение асессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди.

— Не будь, — говорил, — как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он по-

нимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», — ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к

себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая — мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Ассессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не случилось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, — и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, ассессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится, и губами смокчет»...

— Знаю, — говорила ассессорша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже стали

не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, — говорит, — вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведите от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче — как нравы повреждаются.

— Налетит сверху, не зная откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

— Точно, — говорит, — отец Павел, было со мною плохое дело, и... может быть... и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

— Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков — они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

— Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое — ты да я, — и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявлено или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве си-

деть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

— Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

— Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

— Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.

— Открывай.

— Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство...

— Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

— Да-с... Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою...

— Ну! Что же ты останавливаешься? Полу-

чил сто душ с усадьбою — и это не худо. И тут я никакого греха не вижу; если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

— Вам нельзя, — говорит Игнаша, — духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

— Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые,

и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове — совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. — Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как слышался шум, и в ту комнату, где он спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за недачею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантию и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усиленно дремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть — спит

ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

— Молодчина ты — похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить,

чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к ассессорше и говорит:

— Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Ассессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

— Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Ассессорша говорит:

— Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

— Хорошо, — говорит, — только вы слушайте и все точно исполните.

— Слушаю, батюшка, слушаю и непременно

НО ИСПОЛНЮ.

— Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла...

— Встану, — говорит, — отец Павел, даже до зари встану.

— Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

— Есть у меня в кладовой два серпа новые.

— И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

— Есть у меня такая, есть.

— И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

— Все так сделаю.

— И пусть он этот пуд сена съест.

— Кто это?

— Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Ассессорша изумилась.

— Как же это так: разве, — говорит, — он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

— Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный.

ИСКУСНЫЙ ОТВЕТЧИК

Секретарь, укоряемый во многом притязаниями, имел слабость к устройению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новоприбывшему начальнику. Начальник отвечал:

— Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялось, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не зная о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

— Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не

рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшною клятвою именем Божиим поклялся.

— Хорошо, — возразил начальник, — но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те дома и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

— Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

— Точно так, — отвечал секретарь.

— В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

— Не знаю, — отвечал секретарь.

— Как так — не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

— Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

— Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

— И даже много раз спрашивал.

— И что же она вам на то отвечала?

— Ничего не отвечала.

— Как так ничего?!

— Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

— Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

КАК НЕХОРОШО ОСУЖДАТЬ СЛАБОСТИ

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастиям, из которых каждого в отдельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах

дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего

домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоя-

нии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращались и, увидя отца Ивана в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал:

— Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь.

А причетник Илько, будучи доброго сердца и отцу Ивану по училищу еще товарищ, отвечал:

— Виноват, отец благочинный! я не знаю, что вы видите.

— Я вижу бесчинного срамника отвергшего благодати своего сана.

— А я вижу горестного несчастливца и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема, — отвечал Илько, и с сими словами поднял отца Ивана, поставил его к стене и сказал: — Благослови, отче!

Отец же Иван раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег паки; но Илько пошел к нему в дом и, позвав человека из до-

машних, отнесли его и прибрали.

Вскоре за сим отец Иван умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати, и добрые прихожане над могилою его долго служили панихиды, а Иродиона не любили.

НАДЛЕЖИТ НЕ ОСУЖДАТЬ ПРОСТУПКОВ, НЕ ЗНАЯ РУКОВОДИВШИХ ИМ СООБРАЖЕНИЙ

Иеродиакон немолодых лет, но могучной плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к бильярдной игре и однажды в день пятничный на страстной неделе, отслуживши и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовольствие свое влечение к бильярдной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители, как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под бильярд, а на деньги. Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не изволил.

Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а

стал уверять, что уговор был на «подлаз», а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить — шпагу снять и под бильярдом лазить. Но дьякон этого не хотел и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».

Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякою партиєю выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Дьякон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое бильярдное сукно кием подпорол и испортил.

Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их

рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а диакон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен, или если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, испорчено некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел и, несколько излишне на могучность свою полагаясь, стал их плечами пожимать и сталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с азартом на него кинулись, и, после буйственного на него нападения, один, наибольшею военною хитростью одаренный, вскочил на бильярд и с высоты бильярда набросил на фигуру диакона с головой пестрядинное покрывало, так что он очутился как подсвинок, которого мужик заключил в мешок и, завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части и, нащупывая, где его глава, за власы его притя-

гали, и платье на нем порвали, и, руки под пестрядину подсунув, часы с бисерною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей совсем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как оного евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страсто-терпца и всего того, что сделали, еще мало показалось, а они или, лучше сказать, кварталный (ибо его это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущенья просил и умолял о покрытии его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.

Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удовольнились и помышляли уже приступити к метанию между собою жребий о похищенном, кварталный

был несыт причиненным и сказал: «Еще не прииде тому час, а призовите мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы все видели, и довлеет ему, а там, в монастыре, его сдать на руки, и там ему его священнодиаконство помянется и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил».

Услыхав же это, диакон стал ротиться и клятися, что он у себя в келье в клобуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его яко связня не вели, а с свободою рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за двери вынес, но квартальный, исполняясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его, и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался». И, шед вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному пер-

стом, а солдатов и штатских выслал, а диакону сказал:

— Восстав, идем отсюда, — и был ему за истинного самарянина: посадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал:

«Ты, — говорит, — сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в клубуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю».

И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложился игумену, которому все рассказал и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор: оглашению дело предать или дать ему триста рублей на потухение. Игумен же был весьма в правлении опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и выговаривал:

— Зачем ты в такое место попал?

— Ни для чего другого, как для биллиардной игры, — отвечал диакон.

— Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?

А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою ответил:

— А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится.

Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почтена быть не может.

О БЕЗУМИИ ОДНОГО КНЯЗЯ

В первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка токмо лишь епископы были «мужьями единыя жены», прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицею посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но притом уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устройство пришло, которое уже никогда не переменится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большею полнотою исполнить, то избыточные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбрачен, а

священники и диаконы токмо единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна, и добротолубива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему хотя таковое правило ко благочинию церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося ко священству, никак выйти не могут, а если скукою одиночества или стесненностию жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токмо в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого придется. Но это в таких только разгах бывает, если за духовной вдовою есть имение и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношении разговора, танцев и прочего, что в светской жизни не так, как среди духовенства: иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неминуемою участию, которой ей и

должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивые и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай.

Были два священника, оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого — «отец Преферанц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть, и оставил он шестнадцатилетнюю дочь преприятнейшей наружности и с воспитанницей. А у отца Преферанца был сын богослов, которого лучше любили звать «богослов». Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо был он безо всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в жены ту преприятную красавицу.

цу, Вистову дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разгах, постоянно был осторожен и с провожатыми, но однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, заторопился впотьмах и, вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужа-

са, попав головою на оскребальную скобку, и повредил темя. От этого он сразу всех последних способностей и ума лишился, и целых два года всюду прятался, и только, голодом побуждаемый, мычал как теленочек, когда для того час его пошла настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало, в ризах, и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое и мужнино благополучие: ибо долгое ее терпение с тем покойником одно превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он просил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей удержать место за нею как за девицею; но владыка сказал: «Как подобное ранее не

предусмотрено, то и не стоит, да не молва будет в людех». Этот любопытный случай, быть может и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности, и именно — прокрался в молву. Овдовевшая же, оставшись в горестной нужде и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, или мещанина, или однодворца чтобы выйти замуж ожидать не захотела, а пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск к перенесению иконы пресвятая владычицы Коренския, честного ее знамения. Цыгане же, за приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и ее мать содержали, но как молва о ней была известна, то она прозвалася от всех в хоре «мадемуазель попадья», и жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка.

Так-то светского звания люди, в нелепом своем пренебрежении к роду духовных, сами себя наказуют и унижают свой собственный

род, присоединяя его даже лучше к цыганству.

О ВРЕДЕ ОТ ЧТЕНИЯ СВЕТСКИХ КНИГ, БЫВАЕМОМ ДЛЯ МНОГИХ

Ректор содержал в семинарии племянника своего, его же любяше, и не имея иных живых отраслей родства своей фамилии, изрядно его от всех отличал: водил в тонком белье и в чистом платье и предполагал оставить его всего своего имения и имени наследником и поддержателем — в чем и духовную написал и положил ее за рукоприкладством свидетелей лежать до умертвия. Племянник же тот был видом хорош и умом быстр, а сердцем приятен, и прошел уже все риторические и философские науки, и достиг богословского класса, и так как любовь ректора к нему все знали, то учредили его по общему предложению библиотекарем. А по той должности положили ему давать в месяц семь рублей жалованья. Это родственнолюбящему сердцу ректора было в благопрямие, а племяннику его открывало многие для его лет и приличные удобства и удовольствия, как-то: цветной

галстучек для воскресного дня против положения других, или духов и помады на выход для прогулки. Но он стал располагать теми жалованными деньгами совсем не так, как от его юности ожидали, — ни перчаток, ни манишек, ни галстуков, равно как ни духов или помады, или еще чего-либо подобно невинного и летам его свойственного он для себя не покупал, а предался чтению книг чужеземных писателей, почаще всего аглицкого писателя Дикенца, через что в уме его, дотоле никаким фантазиям неприступном, начались слабости, предуготовлявшие его влиянию соблазна, от коего он и погиб, не наследовав ни славы, ни богатства, ни доброт своего дяди и не оставив другим после себя ничего, кроме страшного примера поучения.

Неподалеку от семинарии в малом домике над речкою при великой нужде и горести жила некая вдова рисовального учителя и, наконец, дождалась дочери, которая, достигши шестнадцатой весны, стала ей помогать в шитье рубах на семинаристов. Тогда обе они от этого скудный заработок свой получать начали и тем терпеливо и честно себя содержали

через целые два года, но, не менее того, врагу рода человеческого, всюду успевающему посеять бедствия, обе эти женщины, столь казавшиеся честными, соделались виновницами превеликого несчастья для достойного и представленного к счастью юноши, который имел все права быть под покровительством особ самых именитых.

Обычаем было так, что мать с дочерью свою работу на семинаристов шили, а когда время наставало, эконоом посылал двух служителей с корзиною, и мать с дочерью в ту корзину все свое пошитье укладывали, а служители, продев в нарочитые кольца корзины длинную палку и взяв ее концы к себе на плечи, оба ее несли, а вдова за ними сзади тихо следовала, а дочь оставляя одну в домке. По принесении же белья эконоом оное весьма смотрел и в достоинстве проверял и только тогда принимал; но всегда сие было без спора, потому что все от них принесенное всегда было в большом порядке. Потом же эконоом им производил работный расчет, и вдова получала деньги под расписку, и дешевле их ни одна шитвица не соглашалась, ибо они одни могли

так дешево брать, потому что жили в своем домке. Домик был хотя худ и мал, но за квартиру они все-таки не платили, и отец эконом, который постригся в монахи из тульского купеческого сословия, это принял и на том цену им сбавил. Но не радостно было то, что от этого последовало, в самом, так сказать, романтическом роде.

Случилось раз такое обстоятельство, что сама вдова заболела некоторою опасною болезнью ног от простуды и прийти к расчету в субботу за получением денег сама не могла, а послала ту свою дочь, сказав ей: «Видишь, что я нездорова, а ты уже не маленькая: пойди перемени меня и получи деньги на наше употребление».

Дочь пришла к отцу эконому, и как она видом была очень худенькая, то отец эконом ее не оставил перед собою долго на ногах стоять, а сказал «сядь» и, видя ее пред собою неопытную, стал учитывать строже для экономии и нечто из платы им сэкономил, но зато, видя ее невозражение, при отпуске ее обратно домой подал ей для лакомства на дорогу отрезанного рахат-лукума, приготовленного с ро-

зовым маслом, от коего сладкий и приятный дух, будто от рук архиерейских, ошибает и обоняние приятно нежит.

Та же девица, приняв сладость, поблагодарила, и как в другой раз в следующую субботу за счет пришла, то уже принесла эконому в отдарение за его рахат-лукум простой белый носовой платочек, но с преискусно на уголке вышитою шелком пташкою журавель и, подавая это, сказала, что просит принять подарок за внимание к больной маменьке, которой она данное ей экономом лакомство отнесла, а это шитье своего рукоделья приносит.

Эконом этот злополучный дар принял и по случаю показал затейный платок ректору, а тот сказал: «К чему тебе это? И я хочу иметь и себе такой, и мне нужнее, когда случится на купеческом обеде вынуть. Скажи ей только, чтобы мне птица была другая, более соответственная, а не журавль». И учтивая сиротинка скоро сделала два платка и принесла до выбору на вкус ректора, а у обоих платков на углах шелком метаны разные птицы: одна цапля на вершине древа гнездо свивает, а

лунь в темном воздухе плывет и во тьму красными глазами смотрит. — Все шитье было весьма искусно, но ректору не понравилось, потому что он себя скоро в архиереи ожидал и мечтал уже, чтобы ему стоять на парящих орлах и дух воздымать в превыспренние, но сказать о том через эконома не хотел, да не молва будет в людех и да не повредит. А девица же, всего этого понимания чуждая, ему двух птиц наметила: ночную да болотную — что совсем как бы в насмешку. Ректор призвал ее пред себя персонально и говорит:

— Шитво твое искусно, но фантазия выбора несообразная. Для чего ты мне, духовному лицу, напрасно такую птицу вышила, как цапля, которая на болоте сидит или только по грязным берегам шагает? Это неуместно.

А она ему отвечает, что цаплю вывела в том рассуждении, что цапля птица древняя, из Египта, и она змей и гадов поглощает и тем содействует очищению земли от темных пресмыкающихся. И привела от неожиданной в ней начитанности, что большие болотные птицы составляют отдаленное потомство тех, кои своею работою освободили землю от

гадов, кишмя кишевших при ее начальном виде, и тем сделали лучшим жителям жить можно. А потому-то она и нашла, что цапля духовному лицу будто очень прилична.

— Напрасно ты много рассуждаешь, — отвечал ректор. — Да и если бы так, то тогда к чему же другая — эта сова, или лунь, красными очами во тьму смотрящий?

— А это, — отвечает девица, — к тому, что он во тьме его окружающей сам свет в себе имеет и вредителей жизни видит.

— Да ну, ты, вижу, немалая вольнодумка и очень вольно рассуждаешь... Но тогда скажи: для чего эконому в его малом чине журавля в небе дала?

— Журавли порядок любят и справедливый суд судят.

— Ага! вот какая ты Шехерозада! Ну, однако же я не султан и долго тебя слушать не намерен; но ты очень вольно рассуждаешь. Сделай же ты мне теперь до выбору еще два платка, только так, чтобы могла мне угодить. Назначь такую птицу, которой дано в самых высях парение и оттоле широкое созерцание.

Говорит он ей это, ясно знаменуя птицу ор-

ла, на котором желал опереть свои ноги, но прямо то выразить и ей не желал, чтобы не было пересказу, а ее вкусу и благоразумной догадке доверялся; но она хотя тонкий вкус в изучении своего мастерства имела, но почти-тельную догадку ко угождению особам через многочтение светских книг совершенно утратила и ум свой и доброту чувств испортила. Так она, своими затеями водясь, принесла ректору два новых заказа, где на одном была преизящно расшита малая телом птица, имеющая предлинные, как распущенные парусы, долгие крылья, а другая — ласточка. Понятно, что они обе ректору не понравились, и он спросил о первой: «Это что за помело и что оно выражает?»

Девушка же отвечала:

— Это океанская птица, по названию Фрегат. Она над беспредельностью вод летает на такое далекое пространство, куда ни один орел не смеет отважиться.

А ректор сказал:

— Не твое дело говорить так об орле: на орла изображении высший сан духовный в церкви становится.

Девушка покраснела и стала приносить извинения, что об орлецах, в служении употребляемых, не знала, а судит об орле так потому, что птицы эти хищничеством живут, других терзают и живую кровь проливают. Для того ей и казалось, что орлы на языческих знаменах изображены, а в христианском вкусе ей лучше орлов кажется тихая ласточка, милосизая птичка, у окна мирных домов обитающая, отлетающая и опять к нам отовсюду возвращающаяся.

Ректор ее слушал и на нее смотрел и молвил:

— От кого ты, однако, таким неистовым духом напоена? Повинись и принеси откровенное покаяние.

И она, повинясь, извинения просила и отвечала, что другого научения не имела, как с покойным отцом своим, учителем, говорила и от него же приобыкла читать много книжек, отнимая для того часы от своего сна и отдыха.

— А какого писателя ты больше книжки читала?

— Дикенца.

А на вопрос: через что ей Дикенц очень нравится? — отвечала, что чувствует утешение в соревновании благородству характеров и правил тех скромных лиц, которые у этого сочинителя представляются в самых простых житейских оборотах и силу себе почерпают в кроткой высоте христианского духа. — На вопрос же: имеет ли она себе образец женской добродетели, коей имеет симпатию следовать, она назвала «Малютку Дорит», которая при отце в дурном сообществе, в котором жила, между самыми порочными людьми и всех жалела, но сама чистотою и кротостию отличалась. Ректор велел ей лучше иметь примером моавитянку Руфь; но та, скромно на него глядя, ответила, что Руфь ей не во всех поступках равно нравится и она во всем следовать ей как христианка не может.

Столь строптивый ответ побудил ректора приказать ей немедленно удалиться, а после того тотчас же и платки ее изделия ей отосланы обратно с племянником, без покупки, и пошитво белья у них отобрано и передано другим шитвицам. А чрез такое справедливое наказание, наглостию той девицы заслужен-

ное, она с больною матерью стала терпеть большую нужду и от одного порока незаметно перешла к другому. А именно, когда племянник послан был к ней для того, чтобы видеть беспорядок ее мыслей, пришедших от чтения, которое и сам он избрал, то вышло, что он, принеся ей обратно платки и мало с ней поговорив, а также увидав их бедность, поддался юношескому пылкому обольщению, и начал находить в душе ее нечто для него трогательное, и вдруг начал благородство ее выхвалять, а дядю, в котором имел такого благодетеля и такого наставника, стал осуждать. Потом же скоро от преданного ректору человека узноано было, что племянник принес и отдал матери той девицы все свое жалованье, семь рублей, которое получил за месяц, и когда ректор его в том обличал, то он отвечал с грубостию: если они и враги, то и врагов напитать должно, а что он не может сносить их бедного благородства и в принесении помощи усматривает лучшее удовольствие, чем в покупке для самого себя перчаток, галстуков и помады. А еще через малое время объявил искреннему своему товарищу мысль со-

всем в духовное звание не идти, а поступить в светские и на той Дикенцовой барышне жениться. Товарищ же тот, правильно поставленный разум имея и ректоровым мнением дорожа, как должно, — тайну эту ему тайно же, для спасения друга, предал, и тогда иные меры приняли, а именно: тогда ректор попросил полицию испытать наследницу учителя-ва учения: коего она духа? а племяннику объявил, что он теперь только надвое избирать должен: или жениться на кафедрального дочери и хорошее место получить, или же всего лишиться, и три лишь дня ему дал на рассуждение.

Полиция испытала девицу: коего она духа, — отпустила ее домой с отзывом, что за ней ничего не открыто, а молодой человек, после многих слез и глупых воплей и стенаний от мечтаний своих, был на третий день согласен отказаться от своего пристрастия с тем лишь, чтобы той девице дано было сколько-нибудь денег и она бы сама их любовный уговор отвергла и отказалась, ибо он легковерной клятве своей хотел быть верен, но и места в хорошем приходе упустить не желал.

Видя такое колебание, ректор, движимый родственною снисходительностию к племяннику, и это его настойчивое желание исполнил: он послал девице с письмоводителем двести рублей, чтобы она деньги взяла и немедленно написала отказ малодушному, но она и тут обнаружила гордость: денег нимало не взяла и даже в руки не приняла, но требуемый отказ гордо и скоро написала. А как тут одновременно и окончание курса приспело, то освобожденный племянник сейчас же на дочери кафедрального женился и рукоположен во священники с назначением на завидное место. Но судьбою сему непослушному за его непослушание, которого и потом не оставил, не суждено было прочного счастья. Были ему даны и достатки, и жена домовитая, простая и не мечтательница, которая ему в три года брака их даже четырех прекрасных младенцев подарила, так что он вполне вкусил счастья семейного; но он, однако, не притупил жала скорби и среди всех радостей тайной тоскою томился, и когда на четвертом году его брака та бывшая его самовольная невеста от злой чахотки скончалась, в нем то дол-

го сокрытое жало греховной любви столь обнажилось, что он забыл все касающее своего сана, пришел в храм, где ее отпевали, и, стоя при гробе, горько плакал. А потом, как бы ничему не внимая, стал ходить на прогулку к городским ветряным мельницам, которые за домком осиротевшей вдовы на городском выгоне стояли, и видали его, что неоднократно вдове заходил, и ее словами утешал, и денег ей подавал, и сам с нею недостойными мужества слезами плакал. Так он дошел до той меланхолии, что, приходя к тем мельницам, где покойная часто сидеть любила, сам тут долгие часы проводил в тоске и даже не боялся, что иногда ночь его здесь застигала и облежала тьма, а только дыханье ветра да шум от резко машущих крыльев, да разве мельник на миг поглядит из дверей с фонарем, да пес с проезжим помольщиком под телегою тявкнет, и снова все стихнет. Но он никакого из сих впечатлений не тяготился и после одной бурной ночи найден убитым мельничным крылом, под которое, вероятно, в углубленном раздумье ринулся и был сначала высоко взброшен вверх и потом, перекину-

тый силою, ударен о землю, отчего от разу лишился и сей, ему несносной, жизни, а быть может, и будущей, ибо пресек дни свои сам своевольно.

Ректор же, быв тогда уже архиереем, сам сего несчастного безумца отпевал и, стоя на орле, действительно всем показал свою твердость и неволнение, ибо, достойный своего сана, он уже не свояси и не южики в сердце своем привитал, но обнимал в ней же поставлен пасти.

Так это чтение книг романических столько душ погубило, которые могли бы иметь свои законные радости, и — что дражае того — мужа достойного все родные заботы о кровном и искреннем ни во что обратило. Таков Дикенц.

О НОВОМ ЗОЛОТЕ

По награждении другого священника золотым крестом равного значения, которым ранее кичился один отец Павел, сей непобедимец не стерпел и стал утверждать в компаниях, что дарованный священнику крест сделан «из нового золота». И как это повторялось многократно и многообразно, в олтаре при облачении, в домах при крещении и других требах, и при закусках, и на вечеринках, то это дошло до новонагражденного и очень его стало оскорблять, то он, встретив отца Павла, когда сам был при кресте, сказал ему:

— Отец Павел! если вы не для унижения моего, а в действительности сомневаетесь, что крест мне дан будто из нового золота, то остановитесь на мгновение и, посмотрев, сами удостоверьтесь в девяносто шестой пробе.

Но отец Павел со всегдашнею своею гордынею и острой юморыстыкой отвернул сего ласкавшегося к нему простодушного коллегу ладонью в сторону и сказал:

— Не желаю.

Но тот стал его убеждать и просить, чтобы

поглядел, ибо на кресте уже сам нарочно пробу просил выбить. А отец Павел, оставаясь непреклонен, проговорил:

— Хотя бы там и сто девяносто шестая проба была выбита, но я при своем остаюсь, что этот крест из нового золота сделан. — И еще добавил, что: вам-де так иначе и не следует.

А как все это происходило на улице почти в собрании публики, то новый крестоносец на сей раз уже столь сильно оскорбился, что занес жалобу благочинному и просил доложить владыке об унижении и об оказании от отца Павла защиты. Владыка соизволил и приказал благочинному дознать у отца Павла: на чем он рассеваемые им для сотоварища оскорбительные слухи утверждает? Благочинный, избегая объяснений с отцом Павлом в своем доме, пришел к нему сам будто для шашечной игры и в забавную минуту сказал о претензии оскорбленного крестоносца, крест которого будто из нового золота сделан.

Но отец Павел нимало не подался, а рассмеялся и сказал:

— Неужели же и твое богомудрие сим тоже смущается?

— Да... признаюсь, — отвечал благочинный, — и я смущаюсь, потому что оскорбляющие слухи о новом золоте со временем о всяком пустить можно.

А отец Павел встал, шашки смешал и, задув свечи, с гордостаю произнес:

— То, что я говорю, всегда есть верно и справедливо и приятия достойно, и ничего в себе ни для кого оскорбительного не заключает; но оскорбительно есть для меня и иных умных лиц, к духовному сословию принадлежащих, слышать и знать, что в ряду нас могут быть таковые невежды, коим неизвестно, что орденские знаки и кресты никогда из старого, перетопленного и во всяком употреблении бывшего золота не делаются, а из новых, чистых слитков рубятся и опробуются. И я бы сие всем вам, любителям крестов, посоветовал это ведать и в дурачестве своем на более знающих обычаи и законы не обижаться.

Об этом ответе благочинный в умягченном сокращении донес владыке втайне, так как прежнее мнение имел и владыка. И его преосвященство нашел сказанное отцом Павлом за весьма внимания достойное и велел

новому крестоносцу не обижаться, что он носит крест из нового золота.

О ПЕТУХЕ И О ЕГО ДЕТЯХ

Геральдический казус

Бригадир Александр Петрович был не великой природы корпуса, но пузаст, всегда заботился, чтобы иметь хороших для изготовления столов кухарей, и для того каждые три года отдавал в Москву в клуб двух парней для обучения поварскому мастерству и разным кондитерским приемам разных украшений. Через такое хозяйское предусмотрение у бригадира никогда в поварах недостатка не было, а, напротив, было изобилие, и все знатные господа к его столам охотились. Но он, без перестачи своему правилу следуя, в одно время отослал в Москву еще двух хлопцев, из коих один, будучи на вид самого свежего и здорового лица, не перенес у плиты огненного пыла и истек течением через нос крови, а другой, Петруша, собою хотя видом слабый и паклеватый, все трудное учение отменно вынес и вышел повар столь искусный, что в клубе лучшие гости и сам граф Гурьев ни за что его отпустить не позволяли и велели давать за

него бригадиру на их счет очень большой выкуп. Бригадир же, сам тех радостей ожидая, и слушать не хотел о выкупе Петра, но, не дождав ни раза покушать его приготовления кушаньев, неожиданно помер, а вдова его бригадирша, Марья Моревна, любила держать посты и, соблюдая все субботы и новомесячия, ела просто и, оставшись опекуншею детей своих — сына Луки Александровича и дочерей Анны и Клеопатры, тонких вкусов не имела, а по-прежнему в посты ела тюрьку, а в мясоедные дни что-нибудь в национальном роде, чтобы жирно, слащаво и побольше с пельменочками утоплено. А потому она даже и всех бывших поваров пустила по оброку и Петрушу в клубе оставила, побирая с него в год по семисот рублей на ассигнации. Петруша же сам получал на ассигнации больше, как две тысячи, и уже давно назывался не Петруша, а Петр Михайлович, и столь сделался в независимости своей уверен, что женился на племяннице старшего повара-француза, которая в него но женскому своему легкомыслию влюбилась, а в законах империи Российской была несведуща и не постигала, что через та-

кой брак с человеком русского невольного положения она сама лишалась свободы, и дети ее делались крепостными.

Бригадирша же Марья Моревна, прослышав о том, что Петруша без ведома ее обвенчался на французской подданной, поначалу хотела поступить с ним грубо, но, имея обычай о всем советоваться с своим духовным отцом, рассудила иначе — что от этого ей и детям никакого убытку нет, и наложила только на Петра оброк против прежнего вдвое, так как, по рассуждению священника, Петр, породнясь с первым французом-поваром, мог сам теперь просить о прибавке жалованья и статьи доходов. Требование это Петр Терентьев через многие годы исполнял, и оно его не изнуряло, а, напротив того, он еще себе немало добра нажил, и когда у него родилась дочь от францужки, то водил ее как барышню, в коротких платьицах, в полсапожках и штанцах с кружевами, и учил ее грамоте и манерам у иностранной мадамы в пансионе. Так он был уверен, что получит выкупом вольность, и от всех жениных родных и знакомых тщатливо крыл свое крепостное сословие, оброк акку-

ратно высылал и паспорта получал сам с почты. Но поелику несть ничто тайно, еже не объявится, то пришла к нему в Москву сестра его, смазливая девка, бежавшая от взысканий управителя, который будто бы доискивался ее и для того ее притеснял. Родственный голос крови возопил в Петре и побудил его на иное безрассудство: ту сестру у себя скрыть, хотя с сильным наказом, чтобы она о беде своей, от которой бежала, никому бы не открывала и через то их крепостного звания не обнаружила. Однако, по возникшему о ней подозрению, что ей некуда иначе бежать, как в Москву к брату, она там была открыта и взята по пересылке к наказанию при вратах полиции и к водворению в имение. А как это случилось в то время, когда дочери бригадира Анна и Клеопатра уже кончили учение и пришли в возраст, то в наказание Петру и сам он был потребован в деревню к наказанию за укрывательство сестры, а потом оставаться там и готовить для стола помещиков.

Тогда весь секрет Петра, столь долго им от жены скрываемый, во всем виде перед всеми обнаружился и столь сильное имел на занос-

чивую французскую гордость жены поражение, что она, забыв закон брака и все обязанности супружества, решила мужа оставить и бежать с дочерью в свою природную страну. Другие же доносили так, что будто даже и сам Петр на это ей помогал и сам был согласен навсегда их не видеть, только чтобы не быть им в господской крепости. Но управитель прибыл в Москву для их препровождения, все это вовремя открыл и сдал их этапу для доставки, и тут жена Петра по пути следования в малом городке, в больнице, на этапе умерла, а Петр с дочерью доставлены в имение, и Петр за свое непослушание и за сестру наказан при контроле розгами, а дочь его, Поленька, по четырнадцатому году, оставлена без всякого наказания, а даже прощена и приставлена к барышням, из коих младшая, Клеопатра Александровна, ее весьма жалела и спать у себя клала. А Петр стал готовить на кухне и начал сильно болеть грудью и кашлять, да потом скоро и умер.

Бригадирша о смерти сего искусника печь и варить истинно скорбела; ибо смерть его постигла как бы нарочито как раз при по-

молвке старшей барышни Анны за именитого жениха, причем в дом бригадирши съезжались веселиться многие гости, и надо было для своей славы блеснуть образованным хлебосольством и показать достатки и деликатность. При этом же приехал и брат невесты, бригадиров сын Лука Александрович, и привез с собою двух товарищей-офицеров для танцев.

Из этих один, тоже именитого рода, скоро влюбился во вторую барышню, Клеопатру; узнав о ее хорошем приданом, похотел жениться. Так вслед за первою свадьбою старшей сестры ожидалась и вторая, а в приданое за нею, кроме всего, что она по разделу получила, она брала еще себе Петрову дочь Поленьку, которой тогда было уже шестнадцать лет, но Лука Александрович этому начал сильно противиться и, придя к матери, повинился, что мимо воли своей чувствует к этой крепостной неодолимую страсть.

Бригадирша приняла это за обыкновенное в молодом возрасте бываемое и, быв рассудительна на это, не только сына не обидела, но, напротив, желание его исполнила и девушку ей

не отдала. Лука же Александрович после свадьбы второй сестры целый год в деревне в отпуске проводил дома и веселился, часто посещаемый двумя своими полковыми товарищами, которые также вблизи их села оставались, наслаждаясь домашним воздухом и удовольствиями. А Поленька через это время явилась непраздною и, имея, как видно, от матери врожденную французскую кокетерию, столь Луку Александровича чрез свою ласковость и милоту пленила, что он дошел до неожиданного безумства и, находя в ней будто все прелести ума и кроткого сердца, опять признался матери, что пассия его через годовое преступное соотношение с тою полуфранцуженкою не только не угасла и не устыдилась, но что он, напротив, того не может перенести, чтобы оставить ее в таком положении, а просит у матери дозволения на неравный брак с нею. Мать ему стала представлять опытные резоны, чтобы его воздержать от пагубы, ибо и начальство военное ему на брак с крепостной никогда бы не соизволило; но он обнаружил самую упрямую непокорность и, имея тогда от роду двадцать

пятый год, стал говорить, что уже не малолетний и готов для своей любви чтобы и службу бросить, а на Поленьке обвенчаться тихо, без дворянского общества, как простые крестьяне, среди дня, после обедни. Так он почитал загладить грех своей совести браком и жить в деревне, занимаясь хозяйством.

Бригадирша, видя такую непреклонность и любя сына и сожалея о его безрассудстве, все испытав, что могла, в тоне строгости, обратилась по давнему своему обычаю за последним советом к своему духовному отцу и просила его идти с просфорой от обедни офицера увещевать и угрожать ему страхом религии за непослушание воле родительской. Тот их церкви священник послушался ее приказания и, придя к офицеру, говорит ему указанное, но напрасно, и после того еще и раз, и два, и, наконец, втретие пришел, но получил от него такой отказ, чтобы в четвертый раз и приходить не отваживался, ибо мнилось сему заблужденному, якобы он сам слово божие знает и почитает, и грех свой пред беззащитною сиротою имеет выну пред собою, и за долг совести своей почитает его исправить.

«А вы, — говорит, — меня от честного намерения отклоняете и на бесчестное наводите. Хочу быть более богу покорнее, нежели прочему».

Священник, видев, яко ничтоже успеваает, но наипаче молва бывает, оставил сварливца и, придя к его матери, сказал, что по упорству обнаруженному он ничего от мер резкости не ожидает, а, напротив, быв в жизни опытен, опасается предвидеть нечто непоправимое в том роде, что непокорный сын может снестись с близко проживающими полковыми офицерами и умчит как-нибудь темною ночью возлюбленную им девицу на тройке борзых лошадей в какое-нибудь отдаленное село и там с нею обвенчается, и будет тогда последняя вещь горше первая.

Этими неожиданными словами благоразумный священник так бригадиршу запугнул, что она замоталась перед ним, как ясырь, и, изрыгая на сына хулы света, хотела исключить материнскую любовь из сердца, — снять отцовскую икону всемилостивого спаса и изречь сыну проклятие; но священник ее от такого противного безумия воздержал, а по-

дал ей совет такой политики. Нравоучение его было, дабы испробовать совсем иное — как бы изменить будто свое недозволение и мнимо на тот неравный брак согласиться, но с тем, чтобы упредить это — написав для девицы отпускную и занести ее в первой гильдии купчихи, а тогда на ней, как на купчихе, обвенчаться.

Между же тем, как бригадирша не могла этого скоро понять, она еще больше даже на самого священника рассердилась, а священник сказал ей:

— Пожалуйста, повремените на меня с гневом вашим, а более того, вникните, — ибо видели вы уже немало, что гнев ваш ничего к облегчению не соделает, а лучше прослушайте далее мою пропозицию и обсудите; ибо сказанное неспроста мною предложено. Вы пошлите сына вашего в город самого хлопотать о ее вольности и купеческом звании, — и он на все то охотно согласится и в радости своей поспешит, а мы в тот самый час, как он из деревни за околицу отлучится, нимало не медля, сию девку по вашему приказанию с каким укажете с крепостным невежею обвенча-

ем, и тогда будет всем этим беспокойствам естественное окончание. — Но только одно у нее оговорил, чтобы ему самому была за то от бригадирши всякая защита от его мщения.

Бригадирша, поняв этот план, ликовала и его приняла и сказала:

— Только обстроить бы мне это дело, как это тобою умно рассуждено, а потом я тебя скрою; я тебя в свой комнатный погреб посажу и к себе ключ спрячу, пока он уедет, буду сама есть приносить, а после я тебе к новой пашне на упадлое место лошадь подарю.

Поп пришел домой радостный и, не умея скрыть себя, говорит попадье:

— Ну, мать, радуйся — полно мне по старой сивухе вздыхать, которая пала, да и ранее того в сохе останавливалась. Будет у нас с тобою к новой пашне добрая лошадь с господского ворка, — тогда ты, когда похочешь, и к детям в семинарию навестить съездишь посмотреть, с кем Мишка водится и отчего Гриша харчем недоволен.

А попадья была нетерпячая и стала спрашивать:

— Чем угодил барыне и за что лошадь по-

лучаешь?

Поп говорит:

— Не приставай и лучше не спрашивай — не скажу: тайна сия велика есть и большой секрет между нас.

А попадья была еще ловчее попа, да вместо того чтобы прямо добиваться, стала лебезить:

— Ляжь-ка, ну ты устал, ляжь на коверчик на полу, отдохни, а я у тебя в головах сяду да в волосах поищу.

А поп был охоч поискаться и лег на пол, под ее обаяние, а она села да положила его голову себе в колени и стала его нежно, слегка, пряльною гребенкою в косах поковыривать да под бородкой ему тихо и ласково венчальным кольцом катать, а как на него от копошенья сонный стих к очам прильет, она и говорит:

— Аль еще и теперь мне не скажешь, за что нам лошадь дадут?

Поп говорит:

— То и есть, что не скажу.

А она пождет, опять в голове поковыряет да опять под бородкой ему кольцом поводит

и говорит:

— Аль еще и теперь опять не скажешь?

Да так много раз к нему докучно приставаючи, привела его к тому, что сказал:

— Ах, оставь меня, пожалуйста, спать, — и все дело ей высказал.

Она же, оставив его спать, прикрыла ему лицо платком, а над носом кибиточку вздернула, а сама вышла, дверь за собою заперла и, взяв ключ с собою, пошла к бригадирше и, быв умнее мужа, испросила себе ту обещанную лошадь теперь же, сказав, что «мой поп вам все отслужит, а мне к детям съездить надо посмотреть, чем харчами недовольны». — И сама привела коня с ворка за повод к себе на задворок и поставила к резке.

Поп, как встал да увидел коня, и удивился, говорит:

— Зачем не за свое дело бралася и не в по-ре докучала?

А она отвечала:

— Молчи, поп, не ворчи: что взято, то свято, а ты хоть в семинарии учен и лозой толчен — да малосмыслен.

— Чем так?

— А тем, что или ты не видишь, что бригадирша стареет и со света сходит, а ее сын к самой сильной поре приходит? Что же ты, как если против него неуютное сделаешь, то ведь ты в погребу весь свой век не отсидишься, а как вылезешь, то тогда и тебе и нам всем за тебя худо будет. Неужли ты не знаешь, что день встречать надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к уходящему западу.

Поп, ее загадки прослушав, и начал стужаться и спрашивать:

— Вижу, — говорит, — свою промашку, да что ж теперь сделаю?

А она отвечает:

— Ты не сделаешь, а я сделаю.

Поп еще больше испугался.

— Ты, — говорит, — гляди, что еще не задумала ли?

А она отвечает:

— Не твое дело — ты свое, за что взялся, то и совершай, а я сделаю, что надо полезное сделать.

Поп было серьезно занялся, как узнать, что его жена думает, да никаких средств не умел и ничего не узнал.

— Вот нет, — говорит, — во мне твоей Евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выпытала, под бородкой шевеливши, но, однако, сделай милость, помни, что Евиным безумием Адам погубленный.

Но попадья ничего не внимала, а сказала такой сказ, что если поп ее заранее осведомит, когда бригадиршин сын съедет в город, а Поленьку с мужиком свенчают, то она никакого мешанья не сделает, но если он от нее это скроет, то ее любопытство мучить станет, и тогда она за себя не поручится, что от нетерпения вред сделает.

Поп уступил.

— Ну, ладно, — говорит, — я тебе лучше все скажу, только уж ты знай, да никому здесь не сказывай. Лука Александрович себя от радости не помнит: с матерью помирился и послал за товарищами-офицерами. Они завтра все вместе в город поедут, а как они выедут, так сейчас честолюбию Поленьки будет положен предел, и не успеет тот до города доехать, а мы ее здесь окрутим с Петухом.

Был же Петух бестягольный мужик на гос-

подском птичном дворе — нечистый и полонумный, с красным носом, и говор имел дроботливый с выкриком по-петушьему, а лет уже сорока и поболее.

Это услышав, попадья руками всплеснула и говорит:

— Ах вы, помору на вас нет на обоих с бригадиршею! Старые вы злодеи и греховодники — какое вы зло совершить задумали! Нет, я этого ни за что видеть не могу и ни за что здесь не останусь, а как теперь есть у меня свой собственный конь, мною выпрошенный, то делай ты, что ты взялся, а мне пусть батрак завтра рано на заре сани заложит, — я возьму лукошко яиц да кадочку творожку и поеду одна в город в семинарию, там посмотреть, хорошо ли их хозяйка на харчах держит, и только через три дня назад приеду.

Поп и очень рад.

— Ступай, — говорит, — матери, только мне шкоды не делай. Навести Гришу и Мишу и скажи им мое родительское благословение, и чтобы со всякими безразборно не водились, а помнили, что они дети иерейские, а не дьячковские.

Мать взяла у попа ключи, сбегала на колокольню за лукошком, поставила в сани лукошко и кадочку и поехала. Да как выехала за околицу, так и пошла коня по бедрам хлестать хворостиною. Шибко она доехала до первой станции и остановилась.

— Мне, — говорит, — надо из другого села попутчиков дожидаться, чтобы парой коней спрячь.

И как по некоем часе ее ожидания к станции подкатили сани под светлым ковром, где сидели Лука Александрович и его два товарища, — она взяла Луку в сторону и говорит:

— Никуда дальше не поезжайте и ни одной минуты не медлите, а скорее назад возвращайтесь. Так и так — вот вам тайна, которая против вас умышлена, и покуда вы сюда ехали и здесь остаетесь, там всё делают.

Лука Александрович схватил себя за виски руками и завопил:

— Горе мое, лютое горе! Если это верно, то теперь все поздно — они уже успели ее обвенчать!

Но попадья его скорбь утишила.

— То, что я вам открыла, — говорит, — это

все истинная правда, но опоздания еще нет.

— Как нет? — воскликнул Лука. — Мы ехали сюда час времени и более, да назад должны скакать, а долго ли время надо венцу надеть!

А попадья усмехается.

— Не робейте, — говорит, — не наденут! Садитесь скорее в свои сани, и скачите назад, и стучитесь прямо в церковь, а в ноги возьмите с собою мое лукошечко да дорогой посмотрите. Оно вам хорошо сделает.

Те и поскакали. Порют, хлещут коней, как будто задушить их хотят на одной упряжке, а между тем и в лукошко глянули, а там вместо яиц пересыпаны мякиной венцы венчальные...

Офицеры видят, что их дело хорошо оправдано, потому что венцы здесь, а других в церкви нет, и венчать нечем.

Подскакали к церкви; выскочили из саней — лукошко с собою, и прямо толкнули в двери, но обрели их не позабытыми, а плотно затворенными и изнутри запертыми, а там за дверью слышны беготня и смятение, и слабый плач, и стон, и священниковы крики...

Услыхав все это, Лука Александрович и его два товарища дали порыв гнева и, сильно заколотив в двери, закричали:

— Сейчас нам отпереть! Ибо знаем, что в храме насильный брак совершается, и мы не допустим и сейчас двери вон выбьем...

А как в храме ничего не отвечали, то они стали бить с денщиком в двери, и двери высадили, и вскочили в церковь все — и попадьино лукошко с собою.

Вина же смятения в храме была та, что венцов, которые попадья с умыслом выкрала, не могли найти, и в пре о том делали шумные крики. Поп корил дьячков, что, может быть, унесли и заложили, а дьячки на него спирались, говоря: «Мы венцов из ставца не брали». Но дьякон никого не поносил, а молча писал в книгу по женихе и невесте обыск: «Повенчаны первым браком крепостные Пелагея Петрова да Афонасий Петух, писанные по ревизии за их господами», — а обыскных по ним свидетелей всего два человека стоят без грамоты и Поленьку за локти держат, а Петух в завсегдашнем своем скаредстве, только волосы маслом сглажены, поставлен, как

сам не рад, но безответен.

А тут в двери заколотили Лука Александрович с сотоварищи — все войственники от важного нрава, да при них бомбардир из черкесов, превеликий усилиок, в таком возбуждении, как бы опившись схирского напитка, яко непотребные, от рассуждения правоты отчужденные безумцы.

Тогда все, кто на каком месте стоял, заметались, особенно как Луки Александровича голос услышали, и, забыв о венцах, кинулись совершать, что скорее к исполнению: обыск подписали и стали к аналою, имя божие призывали и петъ уже зачали, сами не зная, чем по пропаже венцов кончится, а дьякон по неудовольствию на попа думает, что не тому бы одному надлежало взять от бригадирши лошадь, а и его священнодиаконству тоже не мешало бы привести хотя неезжалого стригуночка, да в таких-то мыслях понес он мимо дверей книгу со вписанным обыском, а сам, проходя, размахнул пятою да нижний крюк у дверей и сбил. Тогда дверь не удержалась и распахнулась, и вошли все те осаждавшие, имея пылкий вид и самовольные обороты.

Два офицера, у коих в руках венцы, начали всех толкать и похватывать, а Лука Александрович взял предстоявшего жениха Петуха за подзагрибок и оттолкнул его и стал на его место, а бомбардир их, превеликий усилоч, по их слову стал давить попа перстами под жабренные кости, от чего тоя боль коснулась во все части, что поп завизжал не своим голосом, и офицеры, обозлив тем же дьячков по косицам, кричали: «пойте и читайте», и те все от страха загугнеша, еже и не различити самим им, каковая действуют. Но дьякон, уцелев от сего трепания и судя, что обыск брака Пелагеи им уже с Петухом записан, а сии набеглые непорядочники, как военного звания, объявляются в духе законов непостижимые невежды и только своего бесстыдного хотения домогаются, а меж тем все сами смелого характера, а при них бомбардир, превеликий усилоч, — порешил: «Э, да что нам до того! Во свете надо всем угодно жить, — тогда и хорошо». И, надев стихарь, возгласил: «Положив еси на главах их венцы», — а за ним и все, ободрясь, как овцы за козлом, пошли скорохватом и кончили.

И как только венцы сняли, так офицеры уворотили Пелагею в запасную шубу и пока- тили опять в тех же санях к городу, и скоро на чистой дорожке мать попадью обогнали и ее даже не поблагодарили и не узнали, а, заце- пив ее ненароком под отводину, сани ее с нею вместе избочили и в снег опрокинули, и тво- рог, который она везла недовольным семина- ристам, притоптали и в одно с снегом сдела- ли.

Мать же попадья, прозорлив и здрав ум имея, и за то даже не осердилась, а только во- след им с усмешкой сказала:

— Ничего, ты мне со временем за всё воз- даси отразу.

А оные безумцы, проскакав город, взяли новых незаморенных коней и опять поскака- ли, и так неизвестно куда совсем умчались. Попадья же, удостоверив для себя, через что у семинаристов на харчи неудовольствие, воз- вратилась назад, то застала всеобщее перелы- ганство: все прелыгались кийжде на коего- жде, кто всех виноватее, и от бригадирши всё таили, ибо страха гнева ее опасались, и сказа- ли ей: «свадьба повенчана», а что подробнее

было, той неожиданности не открыли.

Бригадирша весь причет одарила: дьякона синюю, а дьячков по рублю и успокоилась, и как она на Пелагею гневалась, то и на глаза ее к себе не требовала, а только на другое утро спросила, как она теперь с своим мужем после прежнего обхождения. Но покоевые девки ей тоже правды открыть не смели и отвечали, что Пелагея очень плачет.

Бригадирша была тем довольна и говорит:

— Она и повинна теперь всегда плакать за свою нескромность, ибо Хамова кровь к Иафетовой не простирается.

И никто не знал — как и когда все такое столь великое лганье прекратить, потому что все правые и виноватые злого и недоброго на себя опасались во время гнева. Но дьякон, быв во всем этом немало причинен, но от природы механик хитрейший от попа и попадьи, взялся помочь и сказал:

— Если мне принесут из господского погреба фалернского вина и горшок моченых в поспе сладких больших я блоков, то я возьмусь и помогу.

Тогда попадья побежала к ключнику и к

ларешнику и, добыв у них того вина и моченых в поспе сладких яблоков, подала их дьякону, ибо знала, что он был преискусный выдумщик и часто позываем в дом для завода и исправления не идущих по воле своей аглицких футлярных часов, коих ход умел умерять чрез облегчение гирь, или отпускание маятника, или очистку пыли и смазку колес. Он и пошел в дом и положил всему такое краеграние, что, развертывая гирную струну на барабашке, вдруг самоотважно составил небывалую повесть, будто Петухова жена Пелагея еще в первой ночи после их обвенчания сбежала от него босая и тяжелая из холодной пуня и побрела в лес, и там ей встретился медведь и ее съел совсем с утробою и с плодом чрева ее.

Бригадирша тому ужаснулась и спросила:

— Неужели это правда?

А дьякон отвечает:

— Я священнослужитель и присяги принимать не могу, но мне так просто должно верить, и вот тебе крест святой, что говорю истину. — И перекрестился.

— Так что же мне совсем не то говорили?

А дьякон отвечает:

— Это, матушка, все со страху перед твоей милостью.

— Для чего же, — говорит, — так? Мне этого не нужно, чтоб лгали. Я наказать велю.

А дьякон ей стал доводить:

— Эх, матушка! Не спеши опаляться гневом твоим, ибо и ложь лжи рознь есть, занесть ложь оголтелая во обман и есть ложь во спасение. Того бо вси повинни есьми, и так было и по вся дни.

И поча ей заговаривать истории от Писания, как было, что перед цари лгали все царедворцы в земле фараонской, и лгаша фараону вси и о всякой вещи, во еже отвратити его очеса от бывшего в людех бедствия. И то есть лютость, и в том кийждо поревноваша коемужде, даже аще мнилось быть и благочестивии и боголюбивии, и невозглагола правды даже и той же бе первый по фараоне, а один токмо связень Пентифаров, оклеветанник из темницы, не зная дворецких порядков, открыто сказал правду фараону, что скоро голод будет. — И потом перешел дьякон к ее делу и сказал:

— Ты же, о госпоже, сама властвуеши душами живых под державой твоей, иже есть отблеск высшего права, и вольна ты во всем счастье и в животе верных твоих, а того ради все, тебя бояся, многая правды тебе не сказывают, но я худой человечиска и маломерный, что часишки твои разбираю да смазываю, столь сея ноци думал о часах быстротечныя жизни нашея, скоропереходящих и минающих, и дерзнул поговорить истину. И ты не опали за то ни меня, ни других яростию гнева твоего, но, обычным твоим милосердием всех нас покрыв, рассуди тихо и благосердно, сколь душевредное из всего того может выйти последствие, ибо от угнетенных нас тобою может быть доношенъе властям в губернскую канцелярию, что свадьба та по твоему приказу пета бяху насилком над Пелагеею, и тогда все мы, смиренные и покорные, пострадаем за тебя, а тебе, — как ты думаешь, — каково будет отвечать богу за весь причет церковный?

Бригадирша стала ужасаться, а дьякон ей еще подбавлял, говоря:

— Да еще и в сем вещи тебе самой преидет

некоторый меч в душу, и избудешь ты немало добра на судейских и приказных людей, да еще они в полноте священной власти твоей над рабами твоими могут сделать тебе умаление. Всего сего ради смилуйся, ни с кого не взыскивай, чтобы и тебе самой худа не было, а лучше подумай, а я изойду на вольное поветрие твои часы по приметочкам на солнце поверять.

И бригадирша, подумав, увидала, что дьякон действительно говорил ей с хорошим и добрым для нее рассуждением, и когда он с солнца вернулся, подала ему вместо ответа целковый рубль, чтобы всем причтом за упокой Пелагеи обедню отслужили и потом же за ту плату и панихиду, и на панихиду сама обещала прийти с кутьею. Но дьякон, видя ее умягчившуюся, рубль у себя спрятал и ей сказал так:

— Нет, заупокойному пению и рыданию быть не должно, ибо я теперь расскажу уже всю настоящую правду, которая есть гораздо того веселее и счастливее, ибо Пелагея жива и обвенчана, но с такою хитрою механикою, что не скоро и понять можно.

И в ту пору изложенные превратности бригадирше открыл, но тоже не совсем без умолчания. Сказал он ей, что непокорный сын ее Лука Александрович под венцом с Пелагеею ходил, а черкес держал Петуха в стороне за локти, и когда бригадирша стала со страха обмирать, он ее успокоил заблаговременно, что все это венчание сыну ее не впрок, ибо писан брак в книге, как надобно, — на Петуха с Пелагеею. Бригадирша вздохнула и перекрестилась, а того, что за превеликим смятением воместо венчания невесть что петобяху, дьякон не сказал, а принес ей из церкви книгу, где брак писан на Пелагеею с Петухом, и говорит: «Вот крепко, что написано пером, того не вырубишь топором. А сын твой, хотя и смелый удалец, но блазень, и закона не понимает. Пусть куда он ее умчал, там с нею и блазнет, и ему то и в мысль не придет, что она ему не жена».

Бригадирше даже весело стало, и она даже жалела, для чего не с ним, а с попом первый совет советовала, и зато, чтобы ему не быть перед попом в обиде, самого на ворок посылала, чтобы сам взял себе там любого коня, на

которого только глаз его взглянет.

Но дьякон умнее себя показал и похвалами не обольстился и коня выбирать борзяся не кинулся, да не будет у старшего зависти.

— А желаю, — говорит, — я себе что скромнейшее — получить с твоего скотного двора молочную коровку сновотелу, и с теленочком, да пусть будет промеж нас двоих такое в секрете условие, что получать мне от тебя из рук в руки к успенью и к рождеству по двадцати рублей на сына в училище, чтобы ему лучше жить было, и он бы, подобно всем, на харчи не жаловался. А я это стану брать и весь наш секрет соблюду во всей тайности.

То слыша, бригадирша отвечала:

— Однако же ты, вижу я, себе не враг, и хитрости твоей даже опасаться можно.

Но дьякон ей:

— Себе никто не враг, но моей хитрости тебе бояться нечего: я тебе уготовился яко же конь добр в день брани и сам через тебя от господина помощь приемлю.

Она же хотения его совершила, но чрез все остальные дни свои имела к нему большую пристрашку, а о сочетавшихся Луке и Пела-

гее — ниже сего предлагается.

О СЛАБОСТИ ЧУВСТВ И О НАПРЯЖЕННОСТИ ОНЫХ (Двоякий приклад от познаний и наблюдения)

Благочинный градских церквей не от себя предлагал, что замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы священники к трогательному покаянию как можно чувствительнее кающихся убеждениями располагали и через то как их спасение, так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем все судить начали и речь дошла до уст отца Павла, то он, предлагая заговорку, сказал:

— Как это «располагать»? И еще же мне неизвестно: какие результаты весьма сильная напряженность чувств дать может. Она может потребовать повсеместного всем выражения правды и обличения без всякого на лица зренья; но кто же снести это может, особливо среди тех, иже рекутся «столпы»?.. Ныне не тот уже свет, как было при пророках, что и самого Ахава за колеса останавливали и даже

в коляску к нему босиком поскакивали. Век наш во всем любит, чтобы были умеренны, и следует в нем живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым иереям бога вышнего, не хуже ли было бы, если свет преисполнился бы непомерною страстностью. Я о себе скажу, что смотрю на это как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице: «недосол на столе, а пересол на спине», и сие одобряю.

А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать, что горячность более духовенству принести может, то он не согласился и предложил два предлога, которые всех раздумать заставили.

— Были у меня, — сказал отец Павел, — двое чад духовных: один открытый недоверок из столичных высланцев, непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих упованиях в другой жизни никогда не говорил иначе, как по символу: «чаю воскресения» и «аминь». А была же другая, женщина сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но николи же в разуме истины приидти могущая. Та всегда мне весьма

пространно веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. — Как же вы думаете: с которым из сих двух чад моих у нас наближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?

Все отвечали:

— Разумеется, с дамою, которая сильнее верила и говенье любила.

А отец Павел опроверг и сказал:

— Вот то-то и есть, что наоборот! Тот петербургский недоверок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то я его всегда поначалу спрашивал: «Ну, как ваше дело?» Он участие к нему принимал сухо и, бывало, кратко ответит: «Не знаю». — «Надеетесь ли?» — «Как же, говорит, все тем только и живут, что надежда им лжет детским лепетом своим». А я на него, бывало, не сержусь, а похваляю: «Надейтесь, говорю, это хорошо: вера, надежда и любовь — это три христианские добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не смущаясь, заповеди спасителя нашего: и любите и врагов ваших, и ненавидящим вас творите благая». И с тем

его, бывало, отпущу; а когда, по возвращении домой, сняв рясу, начну отрясать из ее кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочем краснуха всегда от сего непокорного пришла, и более я с ним во весь год ровно никаких хлопот не имею. — Дочь же моя, по трижды в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество грехов за свободою своею открывала, что я даже ни одного совета ей дать не мог, ибо постигнуть не был в состоянии: коим она духом злее беснуется? А за все то находил в кармане одну мелкую серебряную монетку от нее, увернутую в розовой бумажке с надписью: «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». — И, кроме того, еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо грехом была попрекаема, то всегда подозревала, что то отец Павел открыл ее исповедь, и прибегала справляться и расспрашивать. А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о своих грехах, отец Павел ей нетерпеливо заметил: «Вы блудливы, как кошка, а торопливы, как заяц», — то она вскрикнула:

— Ах вы преступник! Вы самый секретный

грех моей исповеди выдали!

Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она избрала себе другого для ее тайных грехов хранителя, а в противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает, стоя па коленьях среди стада пасомых им в отдалении телят.

И тем лишь от горячности ее избавился...

ОБ ИНОСТРАННОМ ПРЕДИКАНТЕ

Помещик нашей губернии, служа с юных лет своих в досточтимом гвардейском полку, провождал там жизнь свою столь прилично, как и прочие военные гвардейского общества. Он всегда исправно говел и однажды в год сподоблялся святых тайн в полковой своей церкви — и жил во всем как и прочие дружные и верные товарищи, ни в чем не отклоняясь ни от умеренного употребления вина, ни от общеупотребительной игры в клубах, ни от прочих удовольствий, полковому званию свойственных. Женясь же на девице некоторого русского же именитого рода, но с пристрастием к иностранным обычаям, вдруг престранно изменился. В одно лето поехал он с женою к ее родным, пребывавшим на близком к аглицким берегам острове Уайт, и, повстречав там много людей не духовного звания, но о религии рассуждающих и весьма начитанных в св. писании, сам их примером стал увлекаться и толковать себе иное не

столь послушливо, как учит мать наша, святая вселенская церковь, а каждый по-своему, и все воедино твердословя, якобы всему благу на земле можно быть токмо от веры в господа Иисуса и от любви к грешным, за коих проливалась святая кровь его на Голгофе. — После же принятия такого духа все усвоили будто какую-то неопределенную радость и многие неизвестно о чем плакали и в жизни своей делали над своими привычками перевороты: не пили вина, не курили, не гневались и больше всего любили благоговение и чистоту.

Учением сим помещик, как бы Савл, озаренный, возмнил себя уже видящим небо отверсто и стал проповедовать другим; а на следующее лето вызвал к себе познакомленного на том острове нарочитого предиканта, который тоже не курил и не пил ни вина, ни сикера, но детей имел область и возил их всех при себе вместе с женою, а с духовенством насчет их главных дел практики ни о чем решительно спора иметь не хотел, ибо боялся верно, что нозе его в тесные колоды забьют или на скользком пути поставят. Он стал оспособ-

лять хозяев, как наилучше говорить с простыми людьми о вере и как обращаться их к вере во Иисуса, а о всем прочем в церквах важнейшем умалчивал и о жизненных доходах православного духовенства от треб для спасения душ верующих даже вовсе пропускал.

Духовные, скоро это заметив, доложили владыке, что́ это такое и к чему клонит в неотдаленном времени.

Услышав, что все это в наших палестинах совершается, владыка пришел в превеликую гневность, которая не была отнюдь подобна пылкому и суетливому гневу светских правителей, а, возгреваема духом благочестивой ревности, твердо и непреложно к поревнованию пламенела. Дерзость же тех ожесточенных дошла до того, что они своего предиканта из деревенского дома даже в городской дом привезли и здесь всем дамским синклитом его слушали у предводительши, званной за свое изящное лице Еленою Прекрасною. И что еще более, при тех предикациях был в послухах отец Георгий, то есть тот дамский духовник, который посвящен из княжеских заграничных учителей и иностранными диа-

лекты объяснялся.

Как скоро все сие стало владыке известно, то он в величии гнева своего не захотел нимало этого дольше терпеть и, велев заложить карету, сам поехал к губернатору; но на езде раздумал прежде проверить все расспросом бывшего на предикации отца Георгия. Тогда он повелел ехать к его дому, чего тот священник не ожидал и даже до того не допускал, что, увидя в окно остановившуюся карету и особу в ней помещающуюся в голубом атласном одеянии, полагал, что это не к нему, а к соседям купчиха в салопе, и не трогался и оставался покоен. Когда же, наконец, известился о настоящем значении гостя, то выбежал к нему на всходы, встречу ему сделал и кланялся и вел его под руки, направляя к скоро заказанному в гостинной чаю. Но владыка, будучи не в гостинном настроении, не чаю ожидал, а, ревнуя высшему, высшего и усматривал; и потому обнаружил нарочитую сухость, так что даже в гостинные покои вовсе не вошел, а сел не обинуясь со входа в предпоекое, где ожидающие простые просители в ожидании просимого ими у священника

снемлются. И тут с удивлением в голосе и в устах спросил без предисловия:

— Вы ли Алену исповедуете?

Но поп, будучи светск, показал хитрость и сделал выражение, как бы не понимая о ком следует, и довел до того, что владыка по настоящему имени предводительшу назвал.

Тогда он отвечал:

— Да, владыка, Елена Ивановна есть моя духовная дочь.

— Запрети же ей принимать у себя этого иностранного развратителя.

Но поп снова представил, как бы не понимает, и побудил владыку точно так же по имени назвать предиканта.

Тогда отец Георгий отвечал, что он такого запрещения сделать не отважится.

— А для какой причины?

— Для нескольких причин, ваше преосвященство.

— Поясните оные.

Отец Георгий стал пояснять.

— Первая моя причина, — говорит, — та, что моего запрещения могут не послушаться, и я тогда буду через то только в напрасно по-

стыждающем конфузе.

— Неубедительно, — отвечал владыка. — Это не что иное как гордость ума. Излагайте другое.

— Другое то, что предиканта того «развратителем» назвать будет несправедливо, ибо он хотя и иностранец, но человек весьма хороших правил христианской жизни и в проповедях своих располагает сердца ко Христу, а никаких церковных сторон не касается.

— Гм, гм! Вон вы как!.. А третье что?

— А третье, осмелюсь буду представить вам, владыко, то, что духу веры православной не свойственно страшиться робко всякого мнения в чем-либо несогласного, а, напротив, ей вполне свойственно похвальное веротерпимость и свободное изъяснение и суждение, как и у апостола на то совет находим: «Все слушать, а хорошего держаться».

Но сей третий довод владыка дослушал с кипящим нетерпением и, скрытно в душе на говорящего негодуя, отвечал:

— Да... То весьма хорошо, что вы мне привели нечто и от апостола... А не приведете ли вы еще чего-либо во изъяснение, по скольким

причинам у вас власы главы вашей постоянно кратки и а-ла-мужиком кружат, а назарейской долготы не достягают?

— Не знаю, — отвечал Георгий.

— Не подстригаете ли вы их о молодом месяце?

— Подстригаю.

— Напрасно.

— Я делаю это потому, что многие говорят, будто, если концы волос о молодом месяце подстригать, то от того ращение гораздо шибче бывает.

— Оставьте — это неверно... А я вот сейчас прямо от вас поеду к губернатору, да скажу, чтобы он этого предиканта за хвост да за заставу.

Но отец Георгий, как робости подчинения не приученный, отвечал:

— Опасаюсь, что вы сделаете это напрасно.

— Это почему?

— Потому, что губернатор его за хвост и за заставу выбросить не отважится.

— Это почему?

— Во-первых, потому, что он ничего достойного выгнания не сделал.

— Это ничего не значит.

— Во-вторых, что он хорошего рода и уважения, и чрез то в европейских государствах нам вредные слухи распространены будут.

— И сие мне нимало не важно.

— А в третьих... губернатор сам вчера у Елены Ивановны вечером предиканта, за ширмою сидя, слушал...

Услыхав это последнее, владыка остановился и сказал:

— Так для чего же вы мне об этом последнем с самого начала не сказали?

И с сими словами, вместо того чтобы идти, как прежде намеревал, к выходной двери, перешел с веселым видом в гостиную и на ходу ласково молвил:

— Если так, то и мне наплевать! (Разумеется, презрение сие касалось предиканта.)

Засим владыка кушал чай и мадеру и в доброте своей шутил о деде своем, бывшем дьяконе, который, при введении в моду нового ксересного вина, этой новизне противлялся и ему внушал: «Имей веру — пей мадеру».

ОСОБЫ ДУХОВНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И В СВЕТСКОМ БЫТУ ИНАЧЕ УВАЖАЮТСЯ

Губернатор, предполагая сделать у себя званый для всех лиц обед, передал своему правителю писанный список — кому надлежит послать приглашения. И как губернатор был очень занят делами, то он писал скоро и обозначал лица очень кратко, как-то например: «непремен. члену», «директору», «архирею». А правитель, тоже не менее занятый, и считая, может быть, что надписание приглашений по реестрику есть дело очень простое, поручил это сделать двум канцелярским — одному старшему и уже в чине, а другому младшему, который всего один год служил и чина еще не имел. Молодцы эти были: один из воспитанных светских школ, кузин институтской дамы, которой от губернатора особое почтение оказывано, а другой простой — из семинарии в приказные вышедший. Первый из сих, то есть кузин, обладал значительною легкомыс-

ленностью, а второй общепринятою в духовных училищах грубостию. И когда они два оставлены были при своих занятиях, чтобы печатные приглашения надписывать по кратко начертанному губернатором списку, то начали делать это кое-как — так что кузин, имевший плохой почерк руки, только производил — кому адресовать, а тот простой, что из семинаров, под его диктант четким характером пера надписывал. — И оба они спокойно располагали, что умудрились прекрасно; и, скоро все листки надписав, отдали их верховому жандарму, который склал пакеты в кожаную суму и, надев на руки белые рукавицы, повез их возить по надписанию. Но надписание сделали как раз так, как губернатор со скоростью черкнул в чернетке — то есть, например: «непременному члену», «директору» и «архиерею». Так же было надписано и всем прочим, без всякого внимания к их заслугам и полному титулу должности. Так светский кузин диктовал, а грубый семинар, нимало сумняся, надписывал. Светские чины приняли это с тонкой политикой, как бы не заметив, но архиерей по внимательности сво-

ей заметил, и хотя, уважая зов губернаторский, в дом к нему приехал, но при возвратной отдаче ему губернатором визита, на прощании с ним, вынул из своего кармана разорванный пакет с краткою надписью «архирею» и обратил его внимание на эту неуважительность.

Губернатор очень сконфузился и извинялся, и говорил:

— Владыко, простите и позвольте мне этот пакет, я все дело исследую и виновника строго накажу.

Владыка отвечал:

— Нет, к чему это? Я таких наказаний не требую, — но пакет отдал.

Губернатор же, приехав к себе в дом, тотчас призвал своего правителя и много кричал: «как это можно сделать, что надписать просто архирею? Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Сейчас мне узнать, кто в этом виновен, и того по надлежащему пункту со службы выгнать!»

Но, услышав от управителя, что виноват в этом не один, а двое, и именно один кузин его знакомой институтской дамы, — губернатор

тот же час первое пылкое решение отменил, а велел обоим виновников самолично представить архиерею, чтобы они просили у его преосвященства в своей ошибке прощения.

Правитель поступил, как ему насчет молодых велено было; он призвал обоих тех скорохватов и велел им хорошо одуматься и изготавиться, как отвечать, а завтра явиться к архиерею для испрошения себе прощения. — Сам же правитель, явсь ко владыке, тоже в недосмотре своем извинялся и сказал, что оба виновника умаления сана присланы будут для нижайшего прощения. При чем просил, что, может быть, его преосвященство делает им свою нотацию, чтобы знали, что только для его просьбы их не исключают.

Владыка сказал: «хорошо» и благословил прислать к нему виновников умаления в десятом часу на другой день.

Те и предстали — оба в форменных фраках на все пуговицы, в черных штанцах и причесаны гладко, а не по моде.

Владыка скоро к ним вышел без задержки, благословил обоих и заговорил ласково. Кузину, который только в том виноват был, что

диктовал писать коротко «архирею», владыка сказал, что в быстром разговоре это для краткости еще простительно, но с надписывателем, который был из простых, беседовал обстоятельнее, и притом постепенно изменяясь и возвышая.

Поначалу владыка спросил:

— Как вам фамилия?

Тот отвечал: «Крыжановский, ваше преосвященство», ибо ему действительно такая была фамилия.

Владыка заметил, что это фамилия очень обширная:

— Крыжановские есть малороссийцы, есть и евреи, и также из польской шляхты, а также купцы, и дворяне, и низкого звания. — Вы, верно, из поляков? Поляки вежливостью отличны.

— Никак нет, — отвечал Крыжановский, — я не из поляков.

— Из евреев? Есть с образованием.

— Тоже нет, ваше преосвященство: я из малороссиян.

— Эти простодушны. Вы в кадетях обучались?

— Никак нет, — я учился в духовной семинарии.

— Как! — воскликнул владыка, — в семинарии!!

— Точно так, ваше преосвященство.

— Так ты из духовных?!

— Священнический сын.

— Ах ты, бестия в новоместии! Кузин! удалитесь тотчас за дверь.

И когда кузин удалился в другой предпояк, то в ту же минуту услышал нечто особенное, после чего Крыжановский тотчас же вышел, поправляя прическу, и объявил, что он владыкою прощен совершенно.

ЖЕНСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИНЯЕТ НАПРАСНЫЕ БЕСПОКОЙСТВА

Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну, о котором писано, как он подвергся слабости и пострадал от случая с разбудившим его канареечным пением. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что, головою крутя, говорил:

— Ну уж бог с ней — такая она паче ума и естества многословная.

Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении: кого из духовенства почесть избранием себе в отцы, и для того у многих испытывала по разу говеть и так дошла до отца Павла, о котором тоже преподано в истории с ассессор-

ским сыном. — Отец Павел всегда был нетерпелив, но в пост от картофельной пищи и свеклы с огурцами часто был еще хуже и тогда исповедовал с раздражением и колко, а та любила все говорить мелко и по институтской привычке все часто восклицала: «ах». Что ее ни спросить или о чем сама рассказывать захочет, все с того своего любимого слева начинается: «ах». Например: «Ах, я ужасная грешница», или «ах, как я несчастна», и тому подобное — что весьма надокучало.

Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и поклонилась, прежде всего спросил: зачем она себе одного духовника не изберет и всех переменяет? А она отвечает:

— Ах, я такая несчастная... у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть...

Отец Павел говорит:

— Это и понятно, если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.

А она опять:

— Ах, я не могу!

— Почему?

— Ах, это так трудно.

— Трудно потому, что вы все ахаете, а вы

не ахайте, а сделайте просто без «аха».

— Ах, не могу, я очень чувствительна. Ах!

— Ну вот опять «ах»!

— Ах, — да я не могу.

— Попробуйте.

— Ах, я уже один раз попробовала и мне было так... ах, ах!

Отец Павел и перебил.

— Один раз, — говорит, — ничего. Один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не для чего.

Полковница гневно его покинула и, являсь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление.

Владыка против слез сам подал ей воды, а в чем со стороны отца Павла сделана обида, «того, — говорит, — я не понимаю».

А полковница говорит:

— Ах, боже мой, но я понимаю.

— Так вы скажите.

— Ах, я не могу об этом говорить.

— То как же быть?

— Ах, мне пришла мысль.

— Если ваша мысль хорошая — то исполните ее, а если дурная — оставьте.

— Ах, совсем не дурная! Я вам напишу на листке, что́ я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте.

И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью: «Не понимаю».

Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали, чего не понял владыка: французского ли диалекта или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу, но для отца Павла это прошло без больших последствий.

ОСТАНОВЛЕНИЕ РАСТУЩЕГО ЯЗЫКА

Благо и преполезно будет всякому, как верующему, так же и неверующему, услышать, что в настоящей поре, когда мы живем, рука чудодейственная не токмо не сократилась и силы ее не устали, но наипаче безумие умных и гордость непокорных преданиям плющит и сотирает.

В смежной с нами епархии был один архимандрит, имея уже себе от роду более сорока лет, и славился начитанностью во всех науках и все свое время проводил за книгами. Но хотя при совершенно неохужденном его поведении ему то долго не вредило, но потом он вдруг объявил, что снимает с себя сан ангельский, и священство, и архимандритство и желает в мир простым человеком. Быв же через немалое время увещеваем такие свои намерения оставить, оных не оставлял и даже не хотел иметь в виду того, что свет его может просветиться пред человеки: ибо его впереди может ожидать викариатство и вскоре

потом полная епархия, когда благодать духа святого опочит на нем в преизбытке и чрез возложение рук станет изливаться на многих. Но ко всему этому несчастный оставался непреклонным и даже вопрошавшим его о цели замысла не давал полных объяснений — почему такое ужасное вздумал? Напротив, все ответы его были с обидною краткостью и обличали только как бы его скрытность и лукавство, ибо говорил: «Не могу: ярем, чрез омофор изображенный, весьма свят, но для меня тяжек, — не могу его понести». При напоминании же о том, что совлекает с себя чистоту чина ангельского и опять берет мрачную кожу ефиопа, отвечал:

— Нет, я познал себя, что нет во мне ничего ангельского, а есмь токмо простой человек со всеми слабостями и к таковым же равным мне простым людям жалость сердца чувствую и обратно стремлюся, да улучу с теми равные части как в сей жизни, так и в другой, о коей не знаем.

Тогда пронеслись некие обидные для него клеветы, что будто затем расстригается, что идет в мужья к престарелой вдове купчихе,

которой муж его весьма почитал; но он ни на что сие не посмотрел — расстригся и вышел из монастыря весьма тихо и братолюбиво, но только клобук бросил под лавку. Однако и то еще не достоверно и тоже к намерению оклеветать отнести можно. Затем он уехал и стал жить в другой губернии, где никого не имел ни ближних, ни искренних, и тут действительно скоро начал получать многие убедительные письма от дам, которые, странною к нему фантазию уносясь, предлагали ему сами себя в супружество, не искавши никаких обольстительных удовольствий света, а, напротив, чтобы делить с сим расстригою все, что встретят на пути его дальней смятенной жизни. Враг рода человеческого, диавол, чрез женщин обыкший строить злое, привлекал их к сему приманчивою кротостию его духа, которую тот являл, вероятно, не столь искренно, сколько притворно, но с постоянною неизменною. И дошло это душевное влечение к его мнимой доброте со стороны особ другого пола до того безумия, что в числе писем, оставшихся после смерти расстриги, было одно от женщины настоящего высокого звания

русских фамилий, которая даже называть его прежнего сана не умела и вместо того, чтобы писать «архимандрит», выражалась: «парфемандрит», что ей было более склонно к французскому штилю. Он же так скрепился опровергнуть о нем предположенное, что все эти предложения отклонил и с терпением всякой его искавшей с ласковою мягкостью изъяснял, что будто вовсе не для того монастырь оставил, чтобы ринуться в жажду удовольствий, а хочет простой, здоровой жизни по благословению божию, в поте своего лица и не в разлад с своею верою и понятиями.

И так и в действительности себя наружно соблюдал, живя в мире, точно как бы даже не снял с себя ни одного монашеского обета, — содержал себя на самое скудное жалованье и жил приватным учителем при фабричной школе. Но как он был расстрига, то большого хода ему все-таки не было и почтением и доверием от православных простолюдцев он все-таки не пользовался, особенно в рассуждении преподавания божественного закона и молитв. Да и утверждения он на месте учительском не получал, и впоследствии, для из-

бежания чего-нибудь, вовсе был отказан и придержался границ двух смежных губерний, и перебегал так, что когда его в нашей за учительство ловили, то он спасался бегством в соседнюю, а когда там о нем духовенство светские власти извещало и становой его искать и связать приказывал, то он, спасаясь, опять в нашу границу снова возвращался и здесь опять учил детей не только за всякую плату, но столь своим пристрастием был одержим, что и без всякой платы учил чтению святого письма и наводил мысли на нравственность и добротолюбие.

Так, неизвестно что в целях своих содержа и с ними в непрерывных бегах с одного места на другое постоянно крыясь, расстрига сей многих грамоте научил и наставил, по видимости, не в худших началах жизни; но, проживая весною в водопольную росталь в каменной сырой амбарушке при оставленной мельнице, заболел, наконец, тою отвратительною и губительною болезнию, которая называется цынготом, и умер один в нощи, закусив зубами язык, который до того стал изо рта вон на поверхность выпячиваться, что смот-

реть было весьма неприятно и страшно. И пока ему гроб сделали и его в оный положили, престрашный язык его все рос более вон, и мнилось уже всем, что и крыши гроба на него иначе наложить нельзя будет, как разве оную просверлив и язык сквозь оную выпустив. Но, по счастью для перепуганных сим посельчан, случился к той поре на селе некий опытный брат, приезжий из недалней обители за нуждою монастырскою. Тот, увидев сие, покивал головою и сказал: «Брате, брате! Чего доспел еси!» И, обратясь, молвил: «Видите, яко есть бог и он поруган не бывает».

Крестьяне отвечали: «Видим», — и просили: «Аще ли твоему благочестию возможно есть, то помоги, отче!..»

Он же спросил:

— А что ми хотите дати?

Они же отвечали:

— Что сам потребуешь, — все пожертвуем: только много не спроси, ибо худы есьмы и многого не имеем.

Брат же спросил только постного угощенья по силам и денег, сколько надобно на устройство новой камилаухи с воскрылиями. Кре-

стьяне сказали: «Это — согласны».

Тогда брат, сняв с своей камилаухи ветхие, порыжелые воскрылия, вверх их в гроб и покрыв совершенно лицо мертвого, сказав: «Приими то, от чего сам неразумно отпал». Иращение обличавшего расстригу языка его в ту же пору стало невидимо и прекратилось, и гроб, по благословению брата, был предан земле без необходимости сверления крыши, и поучительный случай сей везде старанием брата распространился, и темные крестьяне получили полезный урок — сколь доверие детей своих таким доброхотам, как сей расстрига, не безопасно [В рукописи против приведенного рассказа другою рукою и позднейшими чернилами сделана на поле следующая приписка: «Хоча ж папера и атрамент все терплять и на світ выносять, одначе в сей чудасии, сдаетьця, ни бы-то щось таке соплетено то що, мало бути, але и в правде було, з тим, що николы нигде буты не могло, да и не буде, ни при здешнем грішном, ни у том будущем святом віце, его же от господа не достойнии раби собі чаемо».

[Под этими строками подпись: «Просфор-

нык Геронтый» (прим. Лескова).].

ОСТРЫХ ВЕЩЕЙ В ДАР ПРЕДЛАГАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

Помещик, граф и князь Талагай Боруханов быв большими с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржавые, рамедные болота ездили и далеко в глубь разных полных дичиною мест увлекались. Случилось же им однажды приплутать к весьма протяженному болоту в сильном утомлении и поместиться для принятия пищи и ночлега у бедного сельского священника, который был тут в находившемся поблизости храме. Тот, узнав, каковых лиц в числе сих своих внезапных гостей принимает, засуетился и забежал и матушку попадью свою начал в боки поталкивать, чтобы о всяческих для них удобствах заботилась, и, толкая, повторял: «Да ну ты, мати, поворачивайся! Да ну ты, скорей самоваришку дуй! Да ну, топёжку топи да лепешку три». Но как пришедшие охотники сами имели при себе все лучшие закусочные предметы и ни в каких снедях простого грубого, сельского, домашнего приготовления не нуж-

дались, то они, видя суету попа и попадьино бедствие, чтобы утишить их хлопоты, стали их успокаивать и говорить:

— Пусть мы вам ничем никакого беспокойства не приносим, ибо решительно все нам нужное при себе и при егаре нашем в сумках имеем, и не желаем ничего, кроме одного самовара, да еще острого ножа, ибо свой аглицкий нож сломали при желании нарезать ломтиков для закуски от сильно спрессованной охотничьей конигсбергской колбасы. А еще, — сказали, — просим и вас самих, батюшка, сюда к нам войти и присоединиться и вместе с нами, пока самовар взогреется, выпить рюмку полезного и здорового голландского джину, который здесь в нашей фляге.

Священник поначалу благородно отнекивался, но потом, ободренный, принял и, по усердию угощавших, остался с ними сидеть при чае и на приглашение не церемониться стал вести себя откровенно, как с равными, и в разговоре голландский джин, отбивавший во вкусе своем мозжухой, даже критиковал, не находя его превосходнее высочайше утвержденного доброго русского пенного вина. И

беседа шла превосходно, но когда егарь достал и подал к закуске твердого свойства конигсбергскую охотницкую колбасу, на которой собственный их аглицкий нож изломался, то священник изнес им из-за перегородки свой особый ножик и сказал:

— Этот хотя не аглицкий, а простой русский, но он все отрежет и не сломается.

И действительно, поданный бедный, много уже, почти до самой спинки, сточенный ножишко так и чекрыжил ту плоскую и крепкую конигсбергскую колбасу, отрезая ее самотончайшими стружечками.

И когда при этом содействии все закусили, то граф стал шутливо этот нож хвалить и сказал, что этот русский инструмент их бывшего английского гораздо превосходнее и что, если бы он знал, где такие продаются, то и себе бы непременно такой купил и, в Петербург возвратясь, в мануфактур-совет, для испрошения медали, представил.

А священник хотя и знал, что острых вещей дарить нельзя, но, желая быть вежлив и почитая то за предрассудок суеверия, сказал:

— Пожалуйте, ваше сиятельство, не погну-

шайтесь — этот ножичек от меня примите, ибо он мне теперь уже за окончанием пашни и жнитва более не нужен, а вам он в дальнейшем вашем полевании еще пригодиться может.

Граф же поначалу не хотел взять, но потом, вероятно намеревая в уме чем священнику отплатить, этот его преострый нож принял и, рассматривая оный, любопытствовал:

— Что вы им, батюшка, при полевых работах делали?

А священник отвечал:

— При полевых работах мы им, ваше сиятельство, ничего не делали, ибо затуплять его не хотели; а давно его бережем для того особого дела, что когда, совсем отработавшись, я этим ножиком себе и своей попадье в теплой бане отмягшие мозоли обчищал.

После чего граф нож бросил и не принял и всю жизнь свою о быте сельского духовенства с пренебрежением думал.

ПРЕУСИЛЕННОЕ СТЕСНЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ ПРОТИВНОЕ ПРОИЗВОДИТ

В двухштате церковного причта, с ним же предстоял, работая господеву, отец Павел, не было ни одного из наималейших к нему расположенного за его всегдашнее перед всеми превозношение. Всех он задевал разумом, который не скупно даровало ему всещедрое провидение и которым он распоряжал стойко и самовито, но, думается, как бы не всегда ко единой славе Создавшего, а нередко и к утешению своей неодоленной надменности. Ни со вторствующим коллегою у олтаря, ни со диаконом, на оба штата упадавшим, отец Павел, вопреки инструкции благочинницкой, никогда не хлебосольствовал и сам к ним в дома не входил, ни к себе их не звал; а из всех чтецов и певцов на свою долю отобрал одного, долгого роста и самого смиренного нрава, причетника Порфирия, коего и глаза и за глаза называл «глупорожденным». Но, несмотря,

что сей читал трудно и козелковато, а пел не благочинно лешевой дудкой, — отец Павел только его одного, сего комоватого Порфирия, и брал с собою, когда надобилось в приходе, но, по обычаю своему, и с ним обращался начальственно и пренадменно, так что, например, никогда не сажал его с собою рядом ни на сани, ни на присланные дрожки, а не иначе как на облучок впереди или стоять на запятки сзади, отчего при сильном на ухабах сотрясении легко можно оторваться и упасть или обронить содержимые в связке служебные ризы и книги. А буде и так поставить или посадить Порфирия было невозможно, то отец Павел, мня ся быти яко первым по фараоне, тщился сесть широко один воместо двух, а сего своего сладкопевца вперед себя посылал пешком упреждать, что грядет иже первый по фараоне. А если случалось когда им обоим пешим следовать, то шли так, что отец Павел подвигался шествуя передом, а Порфирий не отступал сзади, и притом непременно в самоближайшем за его спиною расстоянии — ни за что не далее как на один шаг, дабы никто не мог подумать, что сей «глупо-

рожденный» сам собою по своей воле прохаживается, а не следует в строгом подчинении за первым по фараоне, проходящим по служебной надобности. Тогда все, видя сей преусиленно дисциплинный маршрут, не раз удивлялись ему, и одни говорили: «Вот подобрал себе человека, какого ему надобно»; а другие отвечали: «Да, сей не возопиет, ниже возглаголет». Но воместо того именно не кто иной, как сей-то удобшествеяный Порфирий, и воздал ему такое даяние, которое при неожиданной мимолетности своей не устранило весьма поучительного значения, имевшего, быть может, первое остепеняющее впечатление на самовластный характер отца Павла.

Быв позван осенью в постный день недели в дом усердного прихожанина, но не весьма богатого торговца, окрестить новорожденное дитя, отец Павел прибыл и исполнил святое таинство при услужении Порфирия и сейчас же хотел отправить его отсюда одного в оборот назад с купелью. Но торговец, быв хлебо-сол и гостелюбец, вызвался отослать купель в церковь с лавочным молодцом, а Порфирия

просил оставить и дозволить ему напиться чаю и выпить приготовленных вин и закусь.

Отец Павел был в добром расположении и позволил себя на это уговорить и, усмотрев в этом даже для него самого нечто полезное, сказал:

— И вправду, пускай сей мудрец здесь останется и что-нибудь полоччет — ныне ночи осенние стали весьма темны — и мне с ним будет поваднее идти, нежели одному.

Говоря же так, разумел не воров и разбойников, ибо все его знали и никто бы не дерзнул сдирать с него лисью шубу и шапку, но собственно для важности иметь при себе провожатого.

Угощение же им было предложено хотя и усердное, но неискусное, — особливо ломти не весьма свежей привозной осетрины поданы поджаренными по-купечески с картофелью на маковом довольно пригорьковатом масле — от чего почти у всех неминуемо делается душеисторгающая изгага и бьет горькая, проглоченную снедь напоминающая, слюна.

То же случилось и непостерегшемуся отцу Павлу, который очень этим угощением остался недоволен и даже не утерпел — по своему пылкому обычаю хозяевам строго выговорил:

— Дитя, — сказал, — вы крестите и, призвав священника на дом, дворянским обычаем, — удерживаете его к закуске, а не могли позаботиться о свежем маковом масле... Вот я поел, и у меня будет горькая слюна и изгага.

Хозяева его очень просили их простить и приводили для себя то оправдание, что они везде искали самого лучшего масла, но не нашли, а на ином, кроме макового, для духовной особы в постный день готовить не смели.

Но как они хотели воспрепятствовать изгаге, то просили отца Павла принять известное старинное доброе средство: рюмку цельного пуншевого рому с аптечными каплями аглицкой мяты-холодянки. Отец Павел и сам знал, что это преполезное в несварении желудка смешение всегда помогает и, в знак того, что часто заставляет отупевать боли, прозвано у духовных «есмирмисменно вино».

А потому, дабы избавить себя от неприятного, сказал: «хорошо — дайте», и рюмку это-

го полезного есмирмисменного смешения выпил, и поскорее вздел на себя свою большую рясу на лисьем меху и шапку, и, высоко подняв превеликий воротник, пошел в первой позиции, а Порфирий шел за ним, как ему всегда по субординации назначено было, в другой степени, то есть один шаг сзади за его спиною.

Но когда они таким образом проходили улицу в темноте по дощатому тротуару, под коим сокрыта канава, то отец Павел вскоре стал чувствовать, что пригорьковатое масло, возбуждаясь, даже мяту-холодянку преосиливает и беспрестанно против воли нагоняет слюну. Тогда отец Павел, естественно пожелав узнать, не происходит ли это у него от одной фантазии его воспоминаний, желал себя удостоверить: он ли один себя так ощущает, или же быть может, что и Порфирий, у которого нет дара фантазии, и тот тоже не лучшее терпит.

Подумав так, отец Павел крикнул, не обращиваясь:

— Порфирий!

А тот, усугубясь, чтобы в такту попадать за

его шагом, скоро отвечал:

— Се аз здесь, отче!

— Скажи мне, терпишь ты что-либо на желудке?

— Нет, ничего не терплю.

— Отчего ж ты не терпишь?

— Я имею желудок твердого характера.

— О, сколь же ты блажен, что твое глупорожденье тебя столь нечувствительным učinяет!

А Порфирий этого намека не разобрал и говорит:

— Не могу понять этих слов, отче.

— Ты ел осетрину?

— Как же, отче, благодарю вас, — хозяйка мне с вашего блюда отделила и вынесла. Рыба вкусная.

— Ну вот, а я в ней масляную горесть ощущал.

— Горесть на душе и я ощущал.

— Да, но я ее и теперь еще ощущаю.

— И я тоже ощущаю.

— Она мне мутит.

— А как же: и меня на душе мутит.

— Да, но отчего же я сплеваю, а ты не спле-

ваешь?

— Нет, и я тоже сплеваю.

— Но через что же это, как я сплеваю, я это слышу, а как ты сплеваешь, это не слышно?

— А это верно оттого, что вы передом идете.

— Ну так что́ в том за разность?

— А вы просторно на тротуар плюваете, где люди ходят, и там на твердом плювание слышно.

— Да. А ты?

— А я, как за вами иду, то, простора не видя, вам в спину плюваю — где не слышно.

— Как!

Порфирий снова возобновил то, что сейчас сказал, и добавил, что его плювания потому не слышно, что у предъидущего отца Павла в меховой его шубе спина мягкая.

— Каналья же ты! — воскликнул отец Павел. — Для чего же ты смеешь плевать мне в спину?

— А когда я так следую за вами, то иначе никуда плевать не могу, — отвечал препокорный Порфирий.

— Глупец непроходимый! — произнес то-

гда отец Павел и, взяв его впопыхах нетерпеливо за шивороток, приказал идти впереди себя и наказал никому об этом неприятном приключении не рассказывать.

Но Порфирий, боясь грядущего на него гнева, стал от всех выпрашивать мнения насчет своей невинности и для того всем рассказал, как было, и все, кому отец Павел много в жизни характером своим допекал, не сожалели о том, что учредил над ним в темное время Порфирий, а наипаче радовались. Так сей бесхитрый малый без всякой умышленной фантазии показал, что, поелику всяк в жизнь свою легко может хватить у людей масла с горестию, то всяк и в таком нестеснении нуждается, дабы мог мутящую горечь с души своей в сторонку сплюнуть.

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО

Как от совокупления сливающихся ручьев плывут далее реки и в конце стает великое море, берегов коего оком не окинуть, так и в хитростях человеческих, когда накопятся, образуется нечто неуяснимое. Так было и с сим браком.

Меж тем как бригадирша прикрыла хитростями удалство своего сына, тот удалец с мнимою своею женою, о коей нельзя и сказать, кому она определена, прибыл в столицу и открылся в происшедшей тайне сестре своей и нашел у нее для Поленьки довольное внимание, так что и родившееся вскоре дитя их было воспринято от купели благородными их знакомцами и записано законным сыном Луки Александровича и Поленьки и в том дана выпись [Маловероятный случай этот представляется совершенно возможным. По крайней мере на эту мысль наводит 42-й параграф «Инструкции благочинному» изд. 1857 г., где говорится об «осторожности в показывании супругами таких лиц, кои не здесь венчаны», и в доказательство супружества своего ника-

ких доказательств не представляют. Очевидно, что предостережение это было чем-нибудь вызвано (Прим. Лескова).]. Потом же рождались у них и другие дети и тоже так писаны, а потом на третьем году после того бригадирша отошла от сея жизни в вечную, и Лука с сестрами стали наследниками всего имения, и Лука Александрович с Поленькою приехали в имение и духовенству построили новые дома и жили бластишно, доколе пришел час отдавать их сына в корпус и дочь в императорский институт. Тогда стали нужны метрики, и в консистории их дать не могли, потому что брак писан по книгам не на помещика Луку Александровича, а на крепостного Петуха. И тогда, в безмерном огорчении от такой через многие годы непредвиденной неожиданности, Лука Александрович поехал хлопотать в столицу и был у важных лиц и всем объяснял свое происшествие, но между всех особ не обрелось ни одной, кто бы ему помог, ибо что писано в обыскной книге о браке Поленьки с крепостным Петухом, то было по законным правилам несомненно. И он, по многих тратах и хлопотах, возвратился в свой го-

род и стал размышлять, что учинить, — ибо, если он отпустит Петуха на волю, то Петух может чрез чье-либо научение требовать жену и детей, а иначе крепостных детей в благородное звание вывести нельзя. И был он опять в смущении, потому что никто ему в его горе совета не подал.

Но когда совсем исчезает одна надежда, часто восходит другая: ввечеру, когда Лука сидел один в грустной безнадежности, пришел к нему один консисторский приказный, весьма гнусного и скаредного вида и пахнувший водкою, и сказал ему:

— Слушай, боярин: я знаю твою скорбь и старание и вижу, что из всех, кого ты просил, никто тебе помочь не искусен, а я помогу.

Лука Александрович говорит:

— Мое дело такое, что помочь нельзя.

А приказный отвечает:

— Пустое, боярин. Зачем отчаиваться, — отчаяние есть смертный грех, а на святой Руси нет невозможности.

Но Лука Александрович, как уже много от настоящих лиц просил советов и от тех ничего полезного не получал, то уже и не хотел то-

го гнуснеца слушать и сказал ему:

— Уйди в свое место! Где ты можешь мне помочь, когда большого чина люди средств не находили.

А приказный отвечает:

— Нет, ты, боярин, моим советом не пренебрегай, большие доктора простых средств не знают, а простые люди знают, и я знаю простое средство помочь твоему горю.

Тот рассмеялся, но думает: «Попробую, что такое есть?» — и спросил:

— Сколько твое средство стоит?

Приказный отвечает:

— Всего два червонца.

Лука Александрович подумал:

«Много уже мною потрачено, а это уже не великая вещь», — и дал ему два червонца.

А на другой день приходит к нему тот подьячий и говорит:

— Ну, боярин, я все справил: подавай теперь просьбу, чтобы не письменную справку читали, а самую бы подлинную книгу потребовали.

Лука Александрович говорит:

— Неужели ты, бесстрашный этакий, под-

логом меня там записал! Что ты это сделал? И я через тебя в подозрение пойду!

А подьячий отвечает:

— И, боярин, боярин! Как тебе это могло в голову прийти! Ум-то не в одних больших головах, а и в малых. Не пытай, что я сделал, а проси книгу и прав будешь.

Лука Александрович подумал, что много уже он средств пробовал — отчего еще одно не попробовать, и подал, чтобы вытребовали из архива подлинную книгу и посмотрели: как писано? А как была она вытребована, то объявилось, что писано имя «крестьянин Петух», но другим чернилом по выскобленному месту... А когда и кто это написал, и что на этом месте прежде было, — неизвестно.

Тогда сделали следствие и стали всех, кто живые остались, спрашивать: с кем Пелагея венчана, и все показали, что с Лукою Александровичем, а Петух стоял в стороне, и браку было утверждение, и доселе мнимые Петуховы дети получили дворянские права своего рода, а приказный никакой фальши не сделал, а только подписал в книге то самое, что в ней и вычистил. То было его «простое сред-

CTBO».

СКОРОСТЬ ПОТРЕБНА БЛОХ ЛОВИТЬ, А В ДЕЛАХ НУЖНО ОСМОТРЕНИЕ

Туляк один, постригшись на Афоне в монахи, прослыл в делах прошения великим искусником и, быв отпущен в Россию за сбором со святынею, вдруг захотел прежних своих предшественников сразу прострамить и превзойти в добыче. Для этого он, входя в дома благочестивых людей со вверенною ему святынею, с маслом и с бальзамом, с травками и с сухими цветками, всегда смотрел полезного и, замечая благосклонных людей, в благосклонность их вникал и просил о жертвах и записях. Усмотрев же так одного купца, страждущего в водяной болезни при смерти, он стал ему помогать святынями и склонил его, чтобы он, тайно от домашних, до полу своего состояния особым завещанием отписал на Афон, и тогда там вечно за него будут молиться. Тот, быв в немощи, согласился, но и сам просил, чтобы дети его до кончины не знали. Тогда инок послал своего подручного

взять из черного трактира трех штатских особ, которые без занятий в нужде и поглубее; одел их в черные халаты и колпаки, дал по два рубля и повел с собою в виде новопривывших с Афона с пополнительною святынею. Придя же к болящему, вынял из рясы приуготовленное завещание с отписанием пожертвования на Афон и дал его подписать больному, а сам в это время стоял и смотрел в двери, дабы не взошли невзначай жадные к наследству родственники сего миллионера. И когда купец подписался, туляк, не оставляя смотреть в двери, сказал одному штатскому: «выставь скорее теперь ты свою подпись свидетелем». Тот написал: «Вечного цеха Иван Болванов». Тогда другой спросил: «Мне что писать?» — «Пиши, — говорит, — скорее и ты то же самое», — и тот взял перо и написал то же самое: «Вечного цеха Иван Болванов», а потом и третий спросил: «А мне что писать?», а инок и этому еще торопливее: «Пиши то же самое». И когда этот тоже написал «Вечного цеха Иван Болванов», то завещание скорее спешно запечатали купцовым перстнем в пакет и, заперев в его стол, отдали больному

ключ и ушли с миром. Но когда купец вскоре умер и завещание с отписанием на Афон было найдено, то оно никуда через ту опрометчивость не годилось, потому что все три свидетеля разными характерами прописали однако Ивана Болванова, которого и разыскать было невозможно, ибо имя тому штатскому было Богданов, а Болванов он написал по описке пера, а другие два ему в том последовали.

СТЕСНЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ АГЛИЦКОГО ИСКУССТВА

Секретарь консистории, достигая себе орден, коего хотел, сообразил, что по отъезде иностранного проповедника у многих простого звания людей, кои в прежде прошедшей жизни никогда евангелия не читали, появились в руках книжки Нового завета, и книжек тех было весьма изобильно, и хотя под каждою из оных было подпечатано обозначение выхода их из духовной типографии, но секретарь возымел беспокойное сомнение, что те книги произведены в типографии в Лондоне, а выход российский им обозначен обманно, собственно для подрыва доходов православного ведомства в России.

По даче же такому извету хода для дознания его справедливости к губернатору, сей последний призвал к себе из губернской типографии главного справщика, происхождением немца, и, сказав ему о возбужденном подозрении, предложил: не можете ли дать

на сей предмет сведущего разъяснительного заключения.

Тогда тот типографский мастер попросил, чтобы ему показали книжку Нового завета, на русском языке отпечатанную в аглицкой типографии в городе Лондоне. Когда же требуемая книжка была разыскана и ему подана, то он положил оную рядом с одною из тех, которые раздавал отбывший предикатор и служащие его мирноносицы, и долго с немецкою аккуратною неспешностию обе книжки в разных отношениях тиснения, справки и бумаги между собою сравнивал и, наконец, объявил все подозрение секретарево неосновательно.

— И можете ли же вы в том мне под ответственностию своею заручиться? — спросил губернатор.

А немец ответил:

— Могу.

— Но по какому основанию?

— По сравнению всего общего непохожего вида и отдельных частных, из коих мне и всякому понимающему типографское дело в несомненности ясным является, что англий-

ское общество сколь бы ни стремилось всеми силами к тому обману, чтобы подделаться к законному русскому изданию, с установленного благословения изданному, никак того достичь не в состоянии.

— А почему?

— Потому, что там с такими грубыми несовершенствами верстки и тиснения и на столь дурной бумаге уже более двухсот лет не печатают.

Такое заключение, показавшись губернатору вполне убедительным, склонило его дать владыке успокоительный ответ, что опозренные секретарем книжечки должны вне всякого подозрения почитаться, и секретарь себе к получению ордена других предлогов был должен отыскивать.

СТОЙКОСТЬ, ДО КОНЦА ВЫДЕРЖАННАЯ, ОБЕЗОРУЖИВАЕТ И СПАСАЕТ

Отец Павел, имев двух дочерей, дабы не быть вынуждену передавать за ними зятьям места, рано преднамерил этих девиц просветить к светскому званию; и он, быв законоучителем в благородном институте, то и ту и другую из них там бесплатно воспитывал, а когда их срок учения там вышел, то он их взял в дом, купил фортепяно и пошил к лицу им шедшие уборы, и через их образование и свою предусмотрительную ловкость и заманчивые, но неясные в загадочных словах обещания, обеих их без приданого замуж выдал — одну за столоначальника в дворянском собрании, а другую за помещика, который имел много волнистых и тучных овец и этим в губернии славился. Отец же Павел зятя столоначальника считал ни во что, но тем овцеводом был горд и любил превозноситься. Случилось же однажды ему сойтись в институте

у инспектора и играть в карты с приезжим из чужой губернии помещиком, так же, как и зять отца Павла, большим овцеводом, но еще более превеликим хвастуном, и во время сдачи карт пошли между них перемолвки о том: где какой наилучший вывод овец более славится. Помещик-хвастун стал похваляться, что будто во всей России ныне только у него самые лучшие овцы.

— А почему так? — спросил отец Павел.

— Потому, — отвечал помещик, — что мои овцы носят у себя в хвостах до пуда сала.

— Это хорошо, — сказал отец Павел; но добавил, что у его зятя овцы, однако, знаменитее, ибо те имеют в своих хвостах каждая более чем по пуду.

— Да, — отвечал помещик, — и я к вам склоняюсь: можно иметь овец и более чем по пуду содержащих, но я говорил только разумя у себя одних молодых овец, а старшие же у меня имеют по два пуда.

— И это вполне достаточно, — сказал отец Павел, — но ведь и я говорил только о средних овцах моего зятя, а которые у него самые старшие, те имеют в курдюках по три пуда.

— А мои самые старшие по четыре.

— Ну вот еще чего скажи! — негодуя, заметил отец Павел.

А тот в азарте своем, не постигнув ясно отца Павлова возражения, вскричал:

— Как это чего? Разумеется, сала!

— Ага! То-то и есть, — отвечал отец Павел, — а у овец моего зятя не сала, но воску!

Тогда у всех игравших сделалось на минуту недоумение, а помещик воскликнул:

— Это почему воск?

А отец Павел, выходя против него с затруднительной масти, ответил:

— А потому, что он женат на девице духовного звания, а духовенство более с воском, чем с салом обращается.

И бросил ему такую карту, которую тот и покрыть не мог, — и совершенно проигрался.

СЧАСТЛИВОМУ ОСТРОУМИЮ И НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ ВОЛЬНОСТЬ ПРОЩАЕТСЯ

Регент архиерейского хора, быв большим красиком, так в переплете любовных историй от приезжавших ко всенощной дам запутался, что часто по пропетии «Слава в вышних богу» с хор утекал или с направлявшимися к выходу женскими особами глазами перемигивался, но владыка, любя его хорошее регентство и приятный тенор-бас, а о соблазнах женских знать не желал, то и том регенте, что ему много докладывали, ничему не верил, и чрез то довел его до такой уже слабости, что регент на масленице перед самым началом поста, допустив одной богатой и роскошной вдове увлечь себя без спроса в неизвестное место, которое потом оказалось ее отдаленным имением, где они двое без детей ее и пост встретили, и регент там чрез многие дни на попечении ее оставался. Тогда уже и сам владыка в благоповедении своего реген-

та, которого оправдывал, усумнился, но управлению же хором никого более достойного не было, и тогда один иеромонах Феодосий, быв отцу Павлу по семинарии товарищ и даже нарицаяся друг, но не верный, и втайне зложелатель, ибо много осмеяния от острого отца Павла ума перенес, ухищренно помянул владыке, что отец Павел превосходно ноту знает и в давнее время при прежних архиереях хором управлял. Владыка обрадовался и, скоро послав за отцом Павлом, стал ему излагать:

— У меня, — сказал, — большое и неожиданное затруднение, и ты мне помоги.

— В чем такое? — спросил, как бы ничего не ведая, отец Павел, а между тем отлично все ведал и от пришедшего за ним посла за малый дар все расспросил и ответ обдумал, так чтобы все кругло было и отцу Феодосу со шпорою.

Архиерей же просто говорит:

— Я тебя очень прошу: стань, пожалуй, вместо регента до его отыскания. Ныне поют «Покаяния двери» и без руки путают.

Отец же Павел рассудливо соображал себе:

добре! стану я его певчим рукою кивать за одно его ласковое внимание, а если откажусь прямо, то за долг подчинения приневолить может, а вещественного ничего не даст: на первой же неделе поста после всех чувств от масленичных излишеств ко всем духовным отцам притекает самый усердный исповедник, который грех безумия своего помнит и священнику не очень скупится. Отец Павел этой пастырской практики решиться не захотел и, пойдя на отыгрыш остроумием, отвечал:

— Нет, владыко, не примите за грубость, — я этого не могу.

— А для чего так?

— Стар стал и не сдействую.

— Неправда, — сказал архиерей, — мне отец Феодосий сказывал, что ты в сем году на Петра и Павла у себя на именинах в саду всем весело распевавшим хором управлял.

— С той поры, владыко, ухо у меня болело и слуху не стало.

— А неправда твоя: отец Феодос говорит, что ты всегда слух к пению имеешь склоня и чуть ошибку поющих услышишь, на то голо-

вою киваешь.

— Все это, владыко, уже прошло, и слух мой отупел, и я его к пеню не склоняю.

— А для чего же отец Феодосий говорил, что еще склоняешь?

Но тогда отец Павел, много раз именем своего тайного ненавистника уколотый, сам ему отплатил и с обычною острою и смелостию своего ума так ответил:

— Что и недавно, владыко, было, но ежели ныне уже не есть, то и не пишется в реестр, а если вы не сочтете, владыко, за грубительство, то я вам против моих слов живое и неопровержимое доказательство могу представить на самом том превелебном отце Феодосии. Слышал я и несомненно тому верю, да и вы поверить изволите, что он свою чистую и святую главу к женским персям склонял и устами припадал, но ныне, мню, ни за что того не сделает.

Владыка, распалясь в негодовании, вскричал:

— Я этому не верю и тебе повелеваю не верить.

А отец Павел отвечал, что он не верить не

может, ибо читал и учил, что даже явленные миру святые, чудесами просиявшие, в детско́й поре к грудям своих матерей припадали и млеко из оных сосали, кроме токмо сред и пятков и других постных дней. А для того неосужденно думает, что и отец Феодосий, кроме сред и пятков и других постов, церковью установленных, сосать грудь матери своей был обязан.

Владыка смягчился и заметил:

— Если так, то все быть может!

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ВСЕОБЩЕГО НЕДОУМЕНИЯ

Священник смиренного, но втайне самолюбивого нрава, овдовел на седьмом году своего супружества и, высшее в судьбе себе назначая, воздержался мелких забот о жизни и воспитании оставленных ему женою малолетков, а избрал иной путь, его достойный, и для того оставил детей на попечение тещи, а сам благословился у владыки и пришел в обитель искать иноческого чина. Но игумен обители, старец благочестивый, приходящих из духовного звания не любил, ибо находил скромности и послушания гораздо больше в простых и неученых людях, и сказал новонаначальному: «Поживи сначала так и посмотри еще, можешь ли все понести». Новонаначальный же брат выслушал это смиренно и остался в отведенной ему келии, а для надзора за ним и полезного руководства учрежден нарочито опытный инок, высокой жизни, и тот, через три дня по поступлении упомянутого новонаначального, стал замечать за ним странность в

непомерной томности его лица и в упадке впалых глаз и всем осунувшемся выражении. Но тот благочестивый старец, как многоопытный в жизни, примечал, что у вдовцов часто в обители такое мрачное расположение духа приходит от воспоминаний пицци и домашних радостей прошедшей обеспеченной жизни, но однако, сколь сие ни сильно, но при желании духовных достигнуть в каждом разе высшего себе сана скоро препобеждается и проходит. Только в этом случае все несколько иначе продолжалось и с бóльшим ожесточением. Так, брат, которому поручен был новоначальный, надзирая за ним в свою противную дверь, усмотрел, что тот ночью порою, коль скоро все в обители улягутся, как бы ужаленный страстью, из кельи своей выбегает и, содрогаясь, тихо стонет, а потом целые ночи не спит и в келью не возвращается, а побегав по галерейке, становится у стекол и, прислонясь к оным лбом, глядит вдаль на кресты и памятники окружающего кладбища. Опытный брат еще более утвердился, что новоначальный скучает об усопшей своей жене и вопиет к земле о возвращении. Когда

же заметил, что это, не прекращаясь, все продолжается, то, приотворив свою дверь, сказал ему:

— Это нехорошо, брат! Для чего ты стоишь в галерее? Иди, помолись и усни в твоей постели.

А тот отвечал:

— Не могу.

И открылся, что, с тех пор как перешел из своего дома в обитель, уже одиннадцатые сутки уснуть не может. А опытный брат ему отвечал:

— Послушай меня в том, чем я тебя могу пользоваться моим советом: походи ты на ночь подольше по воздуху и, возвратясь в келью, съешь как можно больше черного хлеба или крутых ржаных блинов с вареным маслом до сытости и тогда ляжь, ни о чем не думай, кроме проносимых над головою твоею облаков. Пища черного хлеба на ночь и представление облаков весьма сильно на отдых позывает и дает сон, и ты непременно уснешь, как скоро так сделаешь.

А как брат этот был добр, то сам принес новонаначальному целую половину мягкого ржа-

ного хлеба, и тот все съел; но как ни старался лежать, представляя себе проносящиеся облака, однако, внезапно сорвавшись с постели, опять выбежал на галерею и провел на ногах двенадцатую ночь, глядя на кладбище.

Тогда опытный брат, видя, что в новона начальном даже ржаное зерно не спит, сказал игумену, и к неспящему брату был прислан монастырский врач, инок из старых морских лекарей, который знал лечение, как следует по монастырской жизни, и всякому из братии помогал при употреблении постной пищи и не обнаруживая нескромной пытливости насчет причин, ибо все бывает от воли божией.

Сейчас же он дал неспящему росные кропли и сказал: «Прими и будешь спать крепко», и тот принял, но опять не заснул нимало. Тогда врач-инок на другую ночь пустил ему в рюмку воды усыпительного опиому и велел проглотить; но сна даже и от этого опять не было, напротив же, новона начальный от того будто стал бредить и водить глазами, с остолбенением, в потолочную точку.

Видя это, врачующий брат посадил его на скамью и, дав ему в левую руку длинную пал-

ку от подметальной щетки, велел держать оную и перебирать по ней перстами как можно дробнее и почаще; а сам обнажил ему руку по самое плечо, стянул оную столь крепко ремнем, что все жилы натянулись как дратвы и, ухватив самую сильно напрягшуюся жилу, просекнул ее острием ланцета, отчего кровь в ту же минуту бросилась вверх ручьем, и ударила, и полилась в медный тазик. Когда же крови было спущено столько, что острота вида в глазах пользуемого утишилась и он с потолка опустил глаза к полу и стал как бы засыпать и со скамьи клониться, то братия его взяли под силу, и положили в постель, и вышли, заперев дверь до утра. Но поутру застали его опять стоящего на ногах и говорящего уже совсем невнятным языком.

В таком случае, почитая его поврежденным в рассудке, отправили его в городскую больницу, где светский лекарь, расспросив что и как было и чем пользовали, стал врача-инока порицать и над кроплями из росного ладана смеялся, а раскрыл перстами веки больного и, по рассмотрении измененных его зрачков, сказал, что по нынешней науке, ко-

торая от старого времени вперед большие шаги сделала, причину всякой болезни можно открыть не иначе, как чтобы всего человека разложить вдоль и пристукать и подслушать. Тогда все верно окажется.

И, положив болящего, начал его пристукивать руками и подслушивать ухом, и сказал, что понял все, что в нем происходит, и сейчас же велел старшему фельдшеру, какую над ним надписать латынскую болезнь. Потом же приказал посадить болящего брата в теплую ванну, и после, выняв оттуда, дать ему выпить лекарство, какое следует по новой науке, и положить в постель. Но как только новоназначенного брата раздели и он в теплой ванне согреваться начал, то там же, несмотря на все удержания, сейчас заснул, так что лекарства ему уже дать не могли, а, надев на него на сонного белье, положили в постель, и он все спал, как младенец, и проспал таким манером целые трое суток, и как возбудить его было невозможно, то уже думали, что он умер и не проснется. А на четвертый день он сам проснулся в третий звон о заутрени и был здоров так, что даже румянец в нем заиграл

на щеках, и он попросил себе пить чего-либо кислого, но ему дали чаю с белой булкой, а в тот же час фельдшера побежали за всеми старшими и младшими докторами, которые приказали их немедленно известить, коль скоро столь удивительный больной проснется, ибо о сие его и о прежде бывшей бессоннице они все хотели сочинения писать и в медицинской ученой газете печатать.

Все доктора, как старшие, так и младшие, пришли скоро и опять больного пристукали и подслушали, а потом стали любопытно расспрашивать: сколько ему от роду лет и какого он звания?

Тот отвечал правдиво и явственно.

— Не было ли у вас когда-либо прежде до сего случая продолжительной бессонницы и потом очень долгого сна?

Он отвечал, что бессонницы у него до прихода в обитель никогда прежде не было, а напротив, всегда имел сон, как должно.

Тогда спросили опять: какие он имел перед сим беспокойные страсти или сожаления? Но он отвечал, что никаких страстей и сожалений не имел, ибо смерть жены его есть

воля божия.

— Чему же вы приписываете, что вы в вашей келье целые четырнадцать ночей уснуть не могли?

— Ничему иному, — отвечал брат, — как несметному изобилию неисчислимых в той келье клопов.

Тогда старшие и младшие доктора, переглянувшись друг с другом, велели снять с кровати латынское надписание обозначенной ему болезни, и сочинения о бессонии его не писали, а брат вернулся в обитель и за свое терпение и послушливость заслужил большое расположение, которое немало содействовало ему достойную ступень достигнуть.

ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ОБЫЧАИ ТОЛЬКО С РАЗУМЕНИЕМ ПРИМЕНЯТЬ МОЖНО

Князь Г., возвратясь после продолжительного пребывания в чужих краях, привез с собою духовного студента, который там пять лет находился для русских наук при его детях, и, желая его вознаградить за старания, просил владыку поставить того студента во священники, с назначением на хорошее место в городской приход. Место же это назначалось достойнейшему, но владыка, уважая род князя и его могущественные связи в Петербурге, весьма мало просьбе его за того учителя возражал и согласился. И потому, призвав одного из соборных иереев, имевших в возрасте дочь, велел ему, ничего не рассуждая, дочь за того студента выдать и место передать зятю. Иначе же угрожал ему своею строгостию. Священник покорился своей судьбе и воле владычней: дочь выдал, и от места отказался, и пошел в заштат на кладбище, а в его место в соборе стал упомянутый выше зять его из

княжеских учителей и нарекся «отец Григорий». Он был в служенье хорош и весьма способен, но католиковат, и то было в нем заимственное, так как это и во всей набожной семье самого князя обличалось, да и удивляться нечему, потому что отец Григорий встречался за границую с католическими патерами, и о вере их с ними много рассуждал, и многое что находил у них то нехудо, то посредственно, и некоторое даже почитал за превосходное и достойное восприятия. Так, например, рассуждал он об исповеди, внушая, что испытание совести должно будто производить не одним посредством расспроса о том: каким грехом человек согрешил, но дополнять и обнимать: почему именно и как согрешил, при каких обстоятельствах, и сколько меры в себе самом и во всех условиях находил для того, чтобы твердо устоять в добродетели и не поддаться пороку. А для убеждения указывал на все — на философию, на рассуждения и на несовершенные человеческие суды, и сравнивал — как они повелись в чужих странах, где не секретарь с судьей на мере и посулах судят, а где партикулярные люди из разного

вольного звания слушают и свободной совестью судят по чувству неподкупной справедливости: виновата вина виновного, или она хотя и соделана, но стечением причин по совести и по разуму должна быть извинена.

Отсюда отец Григорий так право или неправо мыслил, что «если, говорит, люди, зли суще, могут так правильно рассуждать о вине, не по одному ее названию, а и по характеру всех окружных обстоятельств, то бог ли, всесовершенный в мудрости и во всех понятиях, может одобрять одинакое осуждение вины, при каких бы она условиях соблюдена ни была? — Не одно и то же, если человек себе хлеба кус скрадет и съест его, мучимый голодом и видом терзания любимых детей, и не то же самое, если похитил кто-либо какое-либо тщетное пустошество для многих нужд и часто вредных удовольствий, с намерением обнаружить превосходство своих достатков и колоть ими еще более упавшие глаза неимущего».

— Если так слишком просто и неискусно судить, — говорил отец Григорий, — и всякий одного наименования грех одинаковою епи-

тимейкою облачать, то это будто выйдет как бы нечто безжизненное, неопытное и ставящее церковного служителя как бы несмыслом, который жизни язв врачевать не в состоянии, ибо даже понять их происхождение не силен. И тогда (рассуждал оный Григорий) едва ли не лучше, чем это до такого детства низводить, то уже совсем предоставить покаяние непосредственно душе человека пред богом, который все видит, все понимает и может дать кающемуся чувство скорби и раскаяния, которые могут больший плод сотворить, чем поклоны.

Владыке об этом вольнодумстве было перенесено, но он, вероятно, для петербургского влияния князя выговора отцу Григорью не сделал, а только призвал его и сказал:

— Слышу, вы колеблетесь в суждении о таинстве святого покаяния между римско-католическим взглядом и протестантским. Они весьма противоположны, но я их не осуждаю, а даже скажу: обои не худы. Но мы, как православные, должны своего не порицать и держаться — тем более что у нас исповедь на всякий случай и особое применение в граждан-

ском управлении имеет, которого нам лучше не касаться. А потому — не разрушайте, да тихое житие проживем во всяком благочестии.

Но самому лично отцу Григорию преосвященный практику по его иностранному понятию не запретил, а, напротив, благословил его и сказал:

— Никому из духовных отцов не воспрещается вникать в состояние немощной совести кающегося грешника. Напротив, — препохвально поступать с рассуждением, а для того и расспрос и беседование на духу не осудительны. Только жаль, что не у каждого есть к тому способности, время и усердие; но усердного и искусного да благословит бог.

Отец Григорий возвратился без малейшего конфуза и как умел подражать чужестранным манерам, а притом еще легко и плавно по-французски разговаривал, то всех лучших дам в городе к себе от других священников перебил, так что, несмотря на его недавность и не старые лета, многие даже от протопопов отстали и обратились в его духовные дочери, и, как заграничному, платили ему не то, что прочим, а часто по золотому, чего даже и

ключарю раньше не давали. Если же он какой-нибудь на духу для большей понятности на французском языке наставление делал, то это иных в такие трогательные чувства приводило, что они гистерически навзрыд плакали и всё отцу Григорию готовы были отдать, а ничего ему не жалели.

Пример его одних огорчал, но других увлек к соревнованию. Так, смелее других ему поревновал отец Андрей, который в давней поре своей молодости в семинарии по-французски преподавал и еще малость помнил, только произносил французские слова на латынский штиль, и ле, ля в разговоре не знал ставить. Однако он знатных дам к себе от отца Григория не отобщи́л, а в расспросных подробностях, какие умел делать отец Григорий, сильно спутался. Случай был с одною эконолкою, которая, оставив одно место, решила у своих хозяев дорогие часы, а дабы у нее оных при обыске не нашли, она их проглотила.

После же трех лет неговенья она открыла об этом отцу Андрею и сказала, стыдяся:

— Я три года недостойно причащалась,

скрывая грех: я скрала господские часы и оные в рот проглотила.

Отец Андрей хотел сделать на католицкий манер соображение и спросил:

— Какие это были часы: или стенные, или карманные?

Но грешница, услышав такой вопрос, отвечала:

— Ах, батюшка, где же вы такой рот видели, чтобы через него стенные часы проглотить можно?! Они бы могли зазвонить у меня в середке, и я бы тогда жива не осталась.

Отец Андрей покачал головою и сказал: «Это правда, стенные бы зазвонили», — и с тех пор он впоследствии рассуждения не любил и всегда то правильное отечественное мнение разделял, что для русских никакие иностранные правила не пригодны.